

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА В. Ф. РАЕВСКОГО (1827—1866)

ПИСЬМА К Г. С. ВАТЕНЬКОВУ, Н. Ф. БЕРДЯЕВОЙ, Л. Ф. ВЕРИГИНОЙ, Д. И. ЗАВАЛИШИНУ
П. Д. КИСЕЛЕВУ, Д. Д. КУРУТЕ, В. Г. РАЕВСКОМУ, С. И. ЧЕРЕПАНОВУ

Публикация и вступительная статья Ю. Г. Оксмана

I

Письмо В. Ф. Раевского от 1 февраля 1822 г. к его другу и политическому единомышленнику полковнику А. Г. Непенину, посланное с оказией из Кипинева в Аккерман, где оно сразу же было перехвачено военно-полицейской агентурой, явилось, как известно, ближайшим поводом для ареста автора письма и для начала дознания по делу о революционной пропаганде в войсках 16-й пехотной дивизии. Все старое бессарабское гнездо Союза Благоденствия оказалось таким образом под ударом и, если бы не своевременное уничтожение Раевским большей части его бумаг, в руках следственных органов было бы гораздо более данных, чем те, которыми располагали разоблачители «первого декабриста» при формулировке важнейших обвинительных пунктов. Но, как на предварительных этапах дознания, так и в позднейших заключениях военно-судных комиссий, остатки обширной корреспонденции Раевского неизменно являлись предметом самого пристального изучения. Скучный эпистолярный материал, обнаруженный в его личном архиве, существенно дополняли его письма, изъятые при обыске у его ближайших друзей. Особенно ценными в этом отношении были письма Раевского к члену Союза Благоденствия капитану К. А. Охотникову. Приобщенные к следственному делу Раевского в качестве вещественных доказательств, его девять писем к Охотникову из села Каракмазы, Аккермана и Одессы за время с 23 ноября 1820 г. по 25 июля 1821 г., равно как и отмеченное выше письмо к А. Г. Непенину, вошли в научный оборот только в 1925 г., после опубликования этих документов по автографам в журнале «Красный архив»¹. Еще позже в распоряжении исследователей оказались четыре интереснейших письма Раевского к капитану П. Г. Приклонскому, его другу и сослуживцу периода 1816—1817 гг. Эти письма, очень небрежно опубликованные в 1949 г. в «Пушкинском сборнике» Ульяновского педагогического института², до сих пор не заняли подобающего им места ни в политической, ни в литературной биографии поэта-декабриста.

Из переписки Раевского, предшествовавшей его аресту, до нас дошли еще два его письма к неизвестной молодой женщине, фамилию которой он назвать на следствии отказался. Одно из этих писем (с датой «Одесса, 8 декабря»), предъявленное Раевскому на допросе в Замостье, печатается в настоящем томе «Литературного наследства» (см. стр. 117—118); другое (от 28 октября), опубликованное в одном случайном издании еще в 1913 г., не только ни разу не упоминалось в литературе о Раевском, но даже библиографически нигде не было учтено³.

Несмотря на то, что оба эти письма датированы только месяцем и числом, время их написания не вызывает сомнений: они относятся к 1820 г., когда Раевский вновь был зачислен в 32-й Егерский полк, стоял со своей ротой в окрестностях Аккермана и имел возможность часто бывать в Одессе. В письме от 28 октября еще свежи первые впечатления Раевского от Бессарабии, духовное одиночество в которой мотивирует и всю

тональность его обращения к любимой женщине: «Сколько времени протекло моей разлуки с тобою! При всех переменах моего положения я остался одинаков в чувствах моей любви! <...> Единообразная картина здешней страны еще более усиливает во мне желание скорее объять тебя, милая Гаша» и пр. Второе письмо (от 8 декабря) явно следует за первым, развивая и варьируя некоторые из затронутых в нем тем⁴.

Нетрудно ответить и на вопрос, почему эти письма остались в бумагах Раевского. Поскольку перед нами не черновики, мы должны рассматривать оба эти автографа Раевского как копии, сделанные им самим с оригиналов, своевременно отправленных по назначению. Много работая в начале двадцатых годов над автобиографическими повестями (ни одна из них, впрочем, не была доведена им до конца), Раевский, видимо, рассматривал и некоторые из своих писем как материал для беллетристических опытов. Неудивительно поэтому, что судьям Раевского, равно как и его позднейшим биографам, не всегда удавалось правильно определить грань, отделяющую корреспонденцию Раевского от его политической публицистики и художественной прозы. Так, например, отрывок из письма от 8 декабря 1820 г. объединен был во время его допросов с явно беллетристическим наброском: «Куда сокрылись вы, блаженные минуты, когда в объятиях ее я забывал грозные кары железного рока» и т. п. Точно таким же образом, без всяких документально-текстологических оснований (другая бумага, другой цвет чернил, не говоря уже о тематических и логических неувязках), в рукопись известного политического трактата Раевского «О рабстве крестьян» включен был в процессе дознания листок, на котором его автор закрепил для памяти несколько пламенных тирад, подležавших, вероятно, вставке в письмо к кому-нибудь из его товарищей по тайной организации: «Нет, не одно честолюбие увлекает меня на попрание деятельной жизни! Любовь есть страсть минутная, влекущая за собой раскаяние. Но патриотизм, сей светильник жизни гражданской, сия таинственная сила, управляет мною. Могу ли видеть порабощение народа, моих сограждан, печальные ризы сынов отчизны, всеобщий ропот, болезнь и слезы слабых, бурное негодование и ожесточение сильных — и не сострадать им?.. О Брут и Вашингтон! Я не унижу себя, я не буду слабым бездушным рабом, — или с презрением да произносит имя мое мой ближний»⁵.

Мы приводим эти несколько строк полностью, потому что они очень выразительно характеризуют тематику и фразеологию не дошедшей до нас части политической переписки Раевского периода 1820—1822 гг.

Как известно, вопрос о масштабах этой переписки остается до сих пор открытым, так как биографы не располагают достаточным фактическим материалом, который позволял бы установить, был ли Раевский в процессе своей революционной работы непосредственно связан с Тульчинским центром тайного общества или вся агитационно-пропагандистская деятельность его направлялась и контролировалась лишь Кишиневской управой Союза Благоденствия. Существенные уточнения в этот круг проблем могут внести, как нам представляется, некоторые строки из письма Раевского к Охотникову от 23 ноября 1820 г.: «Я не был в Одессе, не получал ни откуда никаких известий и сам прекратил со всеми переписку, ибо на два письма не отвечал в Тульчине ни слова⁶. Но знаю и ведаю, что все идет хорошо, и, соглашаясь с твоими же словами, я теперь *у моря жду погоды*»⁷.

Если мы вспомним политическую обстановку осени 1820 г., то легко уясним и значение писем из Тульчина, полученных Раевским, и основания его отказа от ответа на них, и смысл этого якобы спокойного ожидания «у моря погоды», в действительности прикрывавшего большую внутреннюю тревогу. В Петербурге лишь месяц назад ликвидированы были волнения в лейб-гвардии Семеновском полку, — волнения, которые сам Александр I безоговорочно связал с деятельностью тайных обществ. Мятежный полк подлежал военному суду и ждал раскассирования, в войсках гвардии начались массовые репрессии, в столице усилился политический сыск. В руководящих кругах Союза Благоденствия в Петербурге и Москве события последних месяцев 1820 г. сразу же вызвали большую настороженность, а затем некоторую панику и явно ликвидаторские настроения. В Тульчине и в Кишиневе было спокойнее, но все же Раевский считал необходимым на время прервать переписку со своими товарищами по революционной работе.

Выдержка, проявленная Раевским в ноябре 1820 г., очень знаменательна, так как именно он сделал правильные выводы из уроков восстания Семеновского полка и раньше, чем кто-либо из современных ему «дворянских революционеров», широко использовал этот опыт в своей агитационно-пропагандистской работе среди солдат 32-го Егерского полка. Как свидетельствует один из разделов позднейшего обвинительного акта по «делу» майора В. Ф. Раевского, «когда узнал Раевский о случившемся лейб-гвардии в Семеновском полку происшествии, то при офицерах и нижних чинах 32 Егерского полка, равно и в дивизионной конюшерской школе, одобряя буйственный поступок солдат Семеновского полка, называл их молодцами; о чем при исследовании утвердили как штаб- и обер-офицеры, так и нижние чины 32-го Егерского полка; из них же подпоручик Клименков дополнил, что Раевский при собрании роты, объявляя нижним чинам о происшествии Семеновского полка, говорил: „Придет время, в которое должно будет, ребята, и вам опомниться“»⁸.

Зима 1820/21 г. была периодом расцвета агитационно-пропагандистской работы в полках 16-й пехотной дивизии, которые являлись в эту пору наиболее подготовленными к вооруженному восстанию частями 2-й Армии, а потому и требовали особенного внимания к себе со стороны руководства Тайного общества. Положение не изменилось и после формальной ликвидации Союза Благоденствия на Московском съезде в январе 1821 г. Как известно, Пестель не признал роспуска тайной организации, создал в Тульчине новый центр, не зависящий ни от Петербурга, ни от Москвы, а перестройку прежней «управы» ограничил лишь устранением из нее всех случайных, ненадежных или оппортунистически настроенных элементов. Трижды в течение 1821 г. Пестель приезжал в Кишинев. Правда, все эти поездки (первая из них датируется временем с 26 февраля по 8 марта, вторая — с 28 марта по 14 апреля и, наконец, третья — второй половиной мая — началом июня 1821 г.) связывались с поручениями Главного штаба 2-й Армии, но трудно себе представить, чтобы всжды Тайного общества не проявил в эту же пору никакого интереса к деятельности своих старых товарищей, не поддерживал бы их морально, не укрепил бы организационно.

Выход за пределы уставных положений Союза Благоденствия, осуществленный Раевским в его агитационно-пропагандистской деятельности, не может быть правильно объяснен, если не будут учтены известные признания Пестеля во время процесса декабристов. «Тайное наше общество, — утверждал Пестель, — было революционное с самого начала своего существования — и во все свое продолжение не переставало никогда быть таковым». И далее: «Содержание Зеленой книги Союза Благоденствия было не что иное, как пустой отвед от настоящей цели на случай открытия Общества и для первоначального показания вступающим членам, коим всем после вступления делалось сие совершенно известным»⁹. Разумеется, К. А. Охотников, возвратившись в феврале 1821 г. из Москвы, довел до сведения всех бессарабских членов Союза Благоденствия формальное постановление о ликвидации Союза. Но, судя по тому, что в линии политического поведения как самого Охотникова, так и Раевского ничего после этого не изменилось, а устав и документы Союза и расписки его членов остались неуничтоженными, можно полагать, что в Кишиневе, как и в Тульчине, деятельность Тайного общества продолжала развиваться в том же направлении, в каком она велась и во второй половине 1820 г. В прежнем направлении продолжал свою агитационно-пропагандистскую работу и Раевский, перевод которого в конце июля 1821 г. в Кишинев открывал в этом отношении гораздо большие возможности, чем те, которыми он располагал прежде. Попытка Н. И. Комарова во время процесса 1825—1826 гг. представить Раевского основателем в 1821 г. «в 32 егерском полку» особого Общества с «новым родом идей», якобы чуждых Союзу Благоденствия, не заслуживает внимания, так как сам же Комаров признает, что после лета 1820 г. он Раевского уже не видел и судит о его «деле» со слов Сабанеева и Киселева.

К сожалению, ни одно из писем Раевского, направленных в 1820 и в 1821 гг. в Тульчин, до нас не дошло. Не сохранилось ни одного и из ответных писем его политических единомышленников. Одни из этих документов были уничтожены им вместе с большею частью его архива, другие — друзьями Раевского, сразу после его ареста.

В числе писем, уничтоженных Раевским перед его арестом, были письма не только его товарищей по революционной работе, но и письма его литературных друзей, родных и случайных знакомых. От гибели уцелела лишь краткая записочка Пушкина к Раевскому, не имевшая политического значения, а потому сохранившаяся в бумагах поэта-декабриста, опечатанных в 1822 г. и сданных через пять лет аудиториатом 2-й Армии в Военно-судную комиссию в крепости Замостье. Эти бумаги приобретены были впоследствии М. И. Семевским и около 1905 г. оказались в распоряжении П. Е. Щеголева, по копии которого записку Пушкина впервые опубликовал П. А. Ефремов в своем издании сочинений поэта¹⁰.

Во время своего заключения в Тираспольской крепости Раевский в течение 1822—1825 гг. широко пользовался возможностями нелегального общения со своими родными и близкими. Через караульных офицеров и солдат, а иногда и через друзей, проникавших в стены тюрьмы, Раевский передавал на волю не только письма, но и стихотворные свои произведения, имевшие характер революционных прокламаций и сразу же получавшие массовое распространение¹¹. Этим произведениям «певца в темнице» повезло более, чем его письмам, из которых за эту пору до нас дошло только два его полуофициальных письма к начальнику штаба 2-й Армии генералу П. Д. Киселеву.

В первом из этих писем, от 24 февраля 1823 г., Раевский, опираясь, вероятно, на какие-то устные заверения Киселева в готовности ему помочь, просил о передаче его «дела» в какую-нибудь более авторитетную и независимую от И. В. Сабаньева инстанцию, чем Военно-судная комиссия при штабе 6-го пехотного корпуса. С этой просьбой связана была и другая. «Прошу вас еще об одной милости, — писал Раевский, — если можно испросите мне позволение у корпусного начальника на два дня побывать в Кишиневе: я нечаянно был взят сюда — следственно, все мои дела остались там неустроены. Я должен отдать генералу Орлову денежный отчет за шестимесячное управление школою. Деньги на расход получал я не от него — и росписок никаких нет: весь мой экипаж, и лошадь, и два человека остались там без всякого распоряжения; некоторым я остался должен, другие — мне. А так как приятных последствий от дела моего я ожидать не могу, судя по чрезвычайно строгим мерам, взятым вначале, то позволением этим, ваше превосходительство, доставите мне случай привести в порядок мои дела и быть вам еще благодарным»¹².

Второе письмо Раевского к Киселеву связано было с представлением им 1 сентября 1823 г. в Полевой аудиториат 2-й Армии дополнительных материалов к поданному им еще в начале года «протесту» против грубых правонарушений, имевших место в процессе предварительного дознания по его делу. Принюся благодарность Киселеву за содействие в скорейшей передаче своего первого протеста по назначению, Раевский 5 сентября 1823 г. писал: «Я не обманулся в надеждах моих, относясь к праводушнейшему и благороднейшему из людей. Вы подали мне руку помощи в то время, как помощь Ваша была для меня нужнее всего, тогда как я неожиданно и безвременно правосудием был брошен на край моей гибели <...> Вы не могли сделать для меня более, но вы сделали все, что предписывал Вам возвышенный образ мыслей, все, на чем я основываю надежды мои к оправданию.

Я покорюсь безропотно жребию моему, если правосудие найдет меня виновным и подпишет приговор мой. Но где бы я ни был, какая бы участь ни ждала меня — везде и за предел жизни я унесу признательность мою к Вам»¹³.

В своих официальных обращениях к начальникам, в том числе и к самым большим, Раевский обычно не терял чувства собственного достоинства и с некоторой даже аффектацией подчеркивал высоту своего интеллектуального и морального уровня, свое презрение к компромиссам всякого рода, независимость и прямоту. От этих норм поведения Раевский не отступил и в пору своего пребывания в Петропавловской крепости, куда он был доставлен из Тирасполя после событий 14 декабря. Так, например, даже в таком стандартно-уничажительном документе, как «прошение на высочайшее имя», Раевский, обращаясь в апреле 1826 г. к Николаю I с просьбою о «милосердии или великодушном смягчении участи»¹⁴, обошел совершенным молчанием все факты своей революционной работы и настаивал лишь на формальной своей непричастности к деятельности тайных организаций, возникших после ликвидации Союза Благоденствия в

1821 г. Таково же было и письмо Раевского к военному министру генералу А. И. Татищеву от 19 апреля 1826 г., в котором он мотивировал свое обращение к царю отнюдь не раскаянием в своем революционном прошлом, а лишь окончанием следствия по его делу в Комитете для следственных изысканий о злоумышленных обществах¹⁵.

До нас не дошло, как это уже отмечалось выше, ни одного из частных писем Раевского периода его шестилетних странствий по тюрьмам и этапам¹⁶. Менее значима для биографов Раевского потеря всех писем к нему за эти же годы, особенно тех, которые узник получал в официальном порядке, с разрешения крепостного начальства. Но и среди этих писем были, надо полагать, весьма интересные. Так, переписка генерал-адъютанта Левашева с военным министром Татищевым, относящаяся к лету 1827 г., позволяет установить, что командир 6-го пехотного корпуса генерал И. В. Сабанеев, по инициативе которого начато было следствие по делу Раевского, впоследствии настолько изменил свое отношение к нему, что в 1825 г. собирался даже ехать в Таганрог к Александру I, чтобы лично ходатайствовать об освобождении арестованного. Генерал Левашев в своем рапорте об этом приводил несколько строк из письма Сабанеева к Раевскому: «Успех в ходатайстве об освобождении вас почел бы я <знаком> наивеличайшей ко мне милости государя императора и день тот наисчастливейшим днем в моей жизни». Ссылаясь на показания Раевского, генерал Левашев отмечал, что «сие письмо и другие четыре, от него же, Сабанеева, полученные, отдал он, Раевский, инженер-поручику Бартеневу для вручения родственникам его, Раевского». Несмотря на то, что Бартенев, арестованный в свое время за установление нелегальной связи с Раевским в Тираспольской крепости, показал, что он действительно «получил от майора Раевского три письма к сему последнему от генерала Сабанеева, кои и опечатаны вместе с прочими его бумагами»¹⁷, этих писем ни в «деле» Бартенева (этот самый И. Д. Бартенев впоследствии дружен был с Белинским и Герценом и сотрудничал в «Современнике» 1847 г.), ни в других следственных материалах обнаружено в 1827 г. не было. Неразысканными эти письма Сабанеева к Раевскому остаются и до сих пор.

II

Проживая с 1828 г. в с. Оловках (в 85 километрах от Иркутска) сперва на положении сельского поселенца, а затем государственного окрестянина, Раевский поддерживал постоянную связь со своими родными, пользуясь для этого не только почтой, но и нередкими okazиями из Иркутска в Харьков и Курск¹⁸. Эти полулегальные формы связи Раевского с родиной явились одним из поводов для привлечения его к секретному дознанию, производившемуся в Курске в 1831 г. по совершенно фантастическому доносу отставного поручика В. Г. Раевского (двуклассного брата Владимира Федосеевича) о том, что сам он (В. Г. Раевский) и многие из его родственников являются организаторами тайного общества, имеющего целью пареубийство и вооруженное восстание с помощью некоторых заговорщиков, уцелевших от арестов после 14 декабря¹⁹. Обыск, произведенный в связи с этим изветом у Раевского в Оловках 16 ноября 1831 г., не дал оснований для новых политических обвинений, но в числе отобранных у Раевского бумаг оказалось несколько черновиков его собственных писем (к сестрам, к свояку, к П. М. Муравьевой) и большая пачка деловых писем к нему его родных и некоторых из иркутских знакомых²⁰.

Этот эпистолярный материал, сохранившийся до наших дней в архиве III Отделения, проливает яркий свет на те условия, в которых Раевскому пришлось вести борьбу за существование в первые годы его ссылки. Особенно богато бытовыми сведениями письмо Раевского к Н. Н. Бердяеву, мужу его сестры Надежды Федосеевны. Подробно осведомляя о своем материальном положении, Раевский осенью 1831 г. писал: «Обстоятельства мои очень изменились <...> Цены на извоз понизились, а норма вздорожала и теперь я не могу получить в год более 400 или 500 рублей при всем верном расчете. Если из дому мне не пришлют денег, то я должен буду продавать то, что успел составить себе, т. е. самое нужное. Здесь хлеб так возвысился, что можно бы

почесть за голод <...> Воровство, грабеж и убийство здесь суть такие новости, о которых слышишь ежедневно; убить, зарезать, отравить, утопить — суть слова, которые в уезде и в городе слышишь беспрестанно, без внимания, без соучастия, одним словом, как о вещи, которая быть должна, с совершенным равнодушием. Я здесь только три года, а уж два раза имел военные встречи с варнаками (так называют здесь каторжных беглых). Недавно отца жены моей работники ограбили, отняли четырех лошадей, самому прострелили щеку и нижнюю челюсть из ружья дробью и, добивши дубинами, полагая мертвым, бросили в лесу <...> Таковы случаи очень часты, с невооруженной рукою не только ездить, но и спать в доме опасно. Вот куда бросила меня судьба! <...> Я не принадлежу к числу людей, плачущих, вынуждающих, требующих сострадания, и молчу, поскольку молчать возможно, но мысль о будущем ужасает меня» ²¹.

В бумагах, отобранных у Раевского, оказалось и письмо от 1 октября 1831 г., написанное от имени его жены, Авдотьи Моисеевны, к его сестре, Александре Федосеевне Раевской. Письмо это дошло до нас в двух вариантах, один из которых представляет собою автограф В. Ф. Раевского, а другой — копию с этого автографа, сделанную рукою Авдотьи Моисеевны. Эта копия была просмотрена и выправлена Раевским, а затем, вероятно, вновь переписана и отправлена по назначению. Раевский придавал большое значение этому письму и, не полагаясь на дипломатические способности своей малограмотной жены, сам выработал текст ее обращения к А. Ф. Раевской. Задачей письма было закрепление родственных отношений жены и дочери Раевского с его сестрами накануне предполагавшейся поездки к последним А. М. Раевской. Поэтому нас и не должны удивлять строки, включенные Раевским в письмо, составленное им самим от имени его жены: «Любовь Владимира Федосеевича к вам так велика, что ни мне, ни себе, только вам решается он вверить воспитание и самую жизнь своей Саши, которую любит он без ума ²². Я счастлива любовью вашего брата — он часто говорит мне, что если бы он был в счастье, то почитал бы за несчастье иметь другую жену, не меня <...> Он бывает мрачен и задумчив, но редко, бывает даже сердит, но на минуту... Я привыкла к нему. Мы плакали, читая письмо ваше, милая сестрица! Нам не нужно никакой помощи, только любите нас, особенно пишите чаще; вы не поверите, как он мучился целый год, когда вы не писали к нему <...> Теперь все прошло. Он привез мне письмо ваше из горда и сказал: Бог правосуден, они меня любят также. Письмом вашим вы сделали его гораздо моложе... ²³ Но смерть вашего братца привела его в какую-то мрачную задумчивость. Откровенно скажу вам: он не любил его и говорит, что при жизни его никогда бы не отпустил к вам ни дочери, ни меня» ²⁴.

Признания Раевского в его письмах к сестрам и их мужьям, в отличие от многих других его писем и высказываний мемуарного порядка, обильно уснащены сентенциями на религиозно-философские темы. Эти «лирические отступления» в письмах Раевского к его родным ни в какой мере не характеризуют его подлинного образа мыслей и круга интересов, а вынуждены обстоятельствами. Лишенный приговором военного суда всех прав на родовое имущество и испытывая в ссылке тяжкие материальные лишения Раевский мог воздействовать на своих сестер, расхитивших его часть отцовского наследства, апелляцией не к закону, а лишь к их совести и к принципам христианской морали. Отсюда и все намеки Раевского на «божий суд», на «высший промысел», на «загробное возмездие»; отсюда и все рассуждения его, с одной стороны, о «прекрасном и спасительном кресте», а с другой — о «ближних», без «участия и любви» которых жизнь его «не может соделаться покойною и приятною». Мы можем очень сурово расценивать эти тактические компромиссы писем Раевского к его сестрам, но в то же время должны признать, что для этих ханжей и лицемеров была более понятна именно такая фразеология. Материалистические традиции ослабели в мировоззрении Раевского лишь под конец его жизни.

Попытка привлечения Раевского в конце 1831 г. к дознанию о курском злоумышленном обществе, несмотря на то, что самое существование этого Общества оказалось провокационным мифом, имело своим следствием почти полное прекращение переписки «первого декабриста» ²⁵. Разладились и его отношения с сестрами, которым он не писал уже по целым годам. По собственному признанию Раевского, один из этих перерывов

всех его даже почтовых связей с родными продолжался около восьми лет. Таким образом, писем Раевского к его родным было вообще очень немного, но и из этих немногих писем до сих пор в печати известно только пять. Все они адресованы Вере Федосеевне Поповой и относятся к периоду с 15 декабря 1859 г. по 21 мая 1868 г. (опубликованы в «Русской старине» 1902 и 1903 гг.)²⁶. Особенно богато конкретным автобиографическим и бытовым материалом последнее из этих писем, являющееся мемуарным документом большого исторического звучания²⁷. Понятно, почему факты и формулировки именно этого письма являются уже в течение полувека неперменной принадлежностью всех характеристик Раевского.

Первым публикатором и комментатором писем Раевского к его родным был внук декабриста, В. В. Раевский. Им же напечатано было в «Русской старине» 1903 г. и письмо Раевского к его дочери, Вере Владимировне, по мужу Ефимовой, от 25 сентября 1856 г.²⁸ Это был единственный эпистолярный документ, появившийся в печати из всей обширной переписки Раевского с членами его семьи — с женой, с тремя дочерьми и пятью сыновьями. Корреспонденция эта охватывала период в сорок лет и, видимо, погибла полностью, если не считать обрывка еще одного письма Раевского к В. В. Ефимовой, от 10 апреля 1857 г. В этом письме (оно хранилось в бумагах В. В. Раевского и передано было последним П. Е. Щеголеву) уцелели строки, позволяющие установить, во-первых, точную дату одного из портретов В. Ф. Раевского и, во-вторых, время получения им родовых документов. «Посылаю вам мой фотографический портрет, — писал Раевский дочери и зятю. — Он по общему уверению чрезвычайно похож. Я на днях получил из дому по требованию мо(ему) мою наследственную грамоту на дворянство, родословную и герб нашего рода из герольдии, полученные отцом моим еще в 1801 году. Мое имя есть в родословной — следственно, значитса по герольдии и потому для детей моих одно только метрическое свидетельство нужно»²⁹. Повышенный интерес Раевского к этим документам объясняется борьбой за восстановление прав его детей, родившихся в сибирской ссылке. Дело в том, что в основном списке декабристов, амнистированных 26 августа 1856 г., имя Раевского отсутствовало, так как он был осужден не Верховным уголовным судом в 1826 г., а особой Военно-судной комиссией в 1827 г. Действие указа об амнистии распространено было на Раевского с некоторым опозданием, 4 сентября 1856 г., в результате специального представления о нем генерал-губернатора Восточной Сибири. Получение родовых документов сняло с Раевского последние ограничения в его гражданских правах.

III

Одним из ближайших друзей Раевского еще по кадетскому корпусу, а затем по походам 1812—1814 гг., по процессу декабристов и по сибирской ссылке, был Г. С. Батеньков. О характере их отношений мы хорошо знаем и по воспоминаниям Раевского, и по нескольким его стихотворным посланиям к Батенькову периода 1815—1819 гг. К более позднему времени, к периоду 1819—1821 гг., следует отнести те несколько писем Раевского, о которых Батеньков упомянул в одном из своих показаний после 14 декабря: «В 1819 году сверх чаяния получил я три или четыре письма от Раевского. Он казался мне как бы действующим лицом в деле освобождения России и приглашал меня на сие поприще»³⁰. Трудно сказать, вкралась ли в первую строку этого признания случайная ошибка или Батеньков сознательно отклонился от истины, отнеся уничтоженные им письма Раевского к 1819 году. Так или иначе, но «действующим лицом в деле освобождения России» Раевский стал только после своего вступления в Тайное общество, то есть не раньше лета 1820 г. В 1819 г. Раевский еще не был членом Союза Благоденствия и даже не знал о его существовании, а потому никак не мог и Батенькова «приглашать» в эту пору на «сие поприще».

Переписка Раевского с Батеньковым, оборвавшаяся не раньше 1821 г., возобновилась лишь через четверть века, уже в Сибири. 9 марта 1846 г. Батеньков, после двадцатилетнего одиночного заключения, доставлен был с фельдшером в Томск, где, по собственному его признанию, в течение нескольких месяцев, был «дик, отвык жить и едва говорил»³¹. Этим объясняется то, что он не ответил на первые три записки,

присланные ему Раевским из Иркутска и Олонков. Первая из этих записок, набросанная Раевским в спешке, карандашом, без даты и посланная с какой-то оказией, сохранилась в архиве Батенькова и до сих пор не появлялась в печати; время ее написания — видимо, весна 1846 г.:

В Томск. Гавриле Степанычу Батен<ькову>. Прошу зайти и сказать от меня все, передать мои чувства, рассказать о моем быте. Он может писать ко мне, адрес<уя> письмо на имя гражданского губернатора для передачи мне. Я буду также отвечать.

Влад. Раевский ³²

Олонки.

Из следующих шести известных нам писем Раевского к Батенькову пять опубликовано П. С. Бейсовым в 1949 г., а шестое печатается в настоящем томе «Литературного наследства». Почти все эти письма имеют большой исторический интерес, много уясняя и в ранних этапах биографии Раевского и в его общественно-политических позициях позднейшей поры ³³. С Батеньковым Раевский никогда не хитрил и старался быть в полной мере откровенным. Поэтому и все признания его в этих письмах гораздо более полновесны, чем в письмах к сестрам или к лицам, с которыми он связан был официальными отношениями.

Письма Раевского к Батенькову начала шестидесятых годов тематически и хронологически смыкаются с его же письмами к романисту и археологу А. Ф. Вельтману. Личные отношения с последним, завязавшиеся еще в Кишиневе в 1821 г. и возобновленные в 1858 г. в Москве, Раевский поддерживал перепиской, которая с самого начала велась, однако, несколько вяло и вовсе оборвалась через шесть лет. Вельтман не разделял, видимо, ни взглядов, ни интересов Раевского. В этом отношении очень показательны строки последнего в письме к Вельтману от 15 марта 1860 г.: «Ты живешь в давно минувшем и слишком углубился в символические, загадочные предания и сказки, чтобы думать о настоящем, которое теперь двусмысленно и темнее прошедшего».

Всего дошло до нас пять писем Раевского к Вельтману за время с 3 февраля 1859 г. по 3 декабря 1864 г. ³⁴ Эти письма, равно как и письма к Батенькову, вносят много существенных дополнений и уточнений в рассказы Раевского о политических грехах его юности, о шестилетних скитаниях по тюрьмам, о сорока годах подневольной жизни в Сибири, о впечатлениях от поездки на родину в 1858 г. В письме Раевского к Батенькову от 25 июля 1861 г. сохранился, например, следующий эпизод, относящийся к событиям 1826 г. «Я помню, когда я был призван в Комитет 1826 года. После моих ответов на вопросы великий князь Михаил Павлович спросил у меня: „Где вы учились?“ Я ответил: „В Московском унив<ерситетском> благородном пансионе“. „Вот, что я говорил... эти университеты. Эти пансионы!“ Я вспыхнул... „Ваше высочество, Пугачев не учился ни в пансионе, ни в университете...“» ³⁵.

С исключительной трезвостью расценивал Раевский в своих письмах и политическую ситуацию кануна «реформ» шестидесятых годов. Его ненависть к самодержавно-крепостническому строю, его неверие в благие намерения руководителей государственного аппарата, его презрение ко всем видам буржуазно-либерального предрассудка и резко выраженный протест против «гомеопатических» методов социально-политического реформизма позволяют признать, что из всех своих сверстников Раевский наиболее близко подошел к революционно-демократическим установкам публицистики Чернышевского и Добролюбова. В этом отношении очень показательны его письмо к Батенькову от 29 сентября 1860 г.: «Относительно настоящего и будущности России я с сожалением смотрю на все. Сначала я с жадностью читал журнальные статьи, но, наконец, уразумел, что все эти вопросы: гласность, советы, стремления, новые принципы, прогресс, даже комитеты — игра в меледу. Государство, где существуют привилегированные и исключительные касты и личности выше законов, где частицы власти суть сила и произвол без контроля и ответственности, где законы практикуются только над сословием или стадом людей, доведенных до скотоподобия, там не гомеопатические средства необходимы. В наше время освобождение крестьян было ближе к делу» ³⁶.

Эти высказывания Раевского являются документальным подтверждением меткости той общей характеристики, которую ему дал в это самое время Бакунин в письме от 7 ноября 1860 г. из Иркутска к Герцену: «Раевский очень, очень умный человек, и, в противность Завалишину, он не педант-теоретик-догматик, нет, он одарен одним из тех бойких и метких русских умов, которые прямо бьют в сердце предмета и называют вещи по имени <...> Он циник в душе, в сущности ничем не увлекающийся, но разговор его, остроумный, блестящий, едкий, в высшей степени увлекателен. Завалишин постарел, он — нет, его и теперь заслушаться можно <...> Раевский по существу своему, как истый русский человек, с ног до головы демократ, демократ, правда, школы цинической, но все-таки демократ, если не по сердцу, исключительно принадлежащему к его-критической партии, зато по уму дельному, здоровому, не допускающему ни фикций, ни жалких примирений, совершенно русскому уму. По всему образу мыслей он — демократ и социалист *quand même* *»³⁷. Несколько более осторожно, но по существу не противореча этой характеристике ни в целом, ни в деталях, писал впоследствии о Раевском известный соратник Чернышевского В. А. Обручев, отбывавший в 1862—1863 гг. каторжные работы в том самом Александровском водочном заводе, с которым связан был в течение многих лет многообразными деловыми отношениями Раевский. «В Александровском заводе, — писал В. А. Обручев, — жил Владимир Федосеевич Раевский, современник декабристов и всегда причислявший себя к ним — он и был им <...> Для меня несомненно, что в нем погибла личность выдающаяся по уму, энергии, и если не поэтическому, то, во всяком случае, стихотворному дарованию».

В воспоминаниях В. А. Обручева запечатлены и портретные черты Раевского этой поры: «Небольшого роста, довольно плотный, он носил коротко остриженные волосы и бакенбарды, быть может несколько подкрашенные, но все еще черные. Русская речь — отличная, своеобразная. Минутами, когда он читал стихи или рассказывал что-нибудь возбуждающее, к нему возвращалась осанка человека властного, бесстрашного. Стихов он мне читал много, но я помню только две строки о том, как в Новгороде

... сокрушали всенародно
Князьям кичливым рамена.

Всего интереснее были его рассказы о недавнем сибирском проконсуле Муравьеве, о сочиненном им сибирском сепаратизме, его стремлении унижить сибиряков, не давать им ходу и весь состав чиновников прислать из России»³⁸.

В бумагах Батенькова сохранился автограф одного из писем Раевского к этому «проконсулу» Сибири (судя по отсутствию даты, подписи и обращения к адресату, это был не оригинал письма, а копия с него, сделанная Раевским для Батенькова)³⁹. В этом письме, относящемся к сентябрю 1860 г., Раевский разоблачал ту кампанию «лжи и клеветы», которая велась против него некоторыми влиятельными чиновниками генерал-губернаторской канцелярии. Их «ябеда» подрывала Раевского и морально, и материально, обусловив, в конечном счете (как свидетельствует письмо престарелого декабриста к В. Ф. Поповой от 21 мая 1868 г.), и полное его разорение в середине шестидесятих годов.

Всего нами учтено 41 письмо Раевского (не считая фрагмента «Нет, не одно честолюбие увлекает меня...»). Письма эти относятся к пятнадцати адресатам и, охватывая период в пятьдесят лет, с 1818 по 1868 г., хронологически распределяются следующим образом: 1) письмо к П. Г. Приклонскому от июля — августа 1818 г.; 2) к нему же от 25 октября 1818 г.; 3) к нему же от 16 апреля 1819 г.; 4) к нему же от 1 ноября 1819 г.; 5) к неизвестной от 28 октября 1820 г.; 6) к К. А. Охотникову от 23 ноября 1820 г.; 7) к неизвестной от 8 декабря 1820 г.; 8) к К. А. Охотникову от 1 мая 1821 г.; 9) к нему же от начала мая 1821 г.; 10) к нему же от 17 июня 1821 г.; 11) к нему же от 25 июня 1821 г.; 12) к нему же от начала июля 1821 г.; 13) к нему же от 14 июля 1821 г.:

* несмотря ни на что (франц.).

14) к нему же от 22 июля 1821 г.; 15) к нему же от 25 июля 1821 г.; 16) к А. Г. Непенину от 1 февраля 1822 г.; 17) к П. Д. Киселеву от 24 февраля 1823 г.; 18) к нему же от 5 сентября 1823 г.; 19) к Николаю I от 19 (?) апреля 1826 г.; 20) к А. И. Татищеву от 19 апреля 1826 г.; 21) к Н. Н. Бердяеву от конца сентября 1831 г.; 22) к П. М. Муравьевой от конца 1831 г.; 23) к Г. С. Батенькову от первой половины 1846 г.; 24) к нему же от весны 1846 г.; 25) к нему же от конца 1846 г.; 26) к В. В. и Ф. В. Ефимовым от 25 сентября 1856 г.; 27) к В. В. Ефимовой от 10 апреля 1857 г.; 28) к А. Ф. Вельтману от 3 февраля 1859 г.; 29) к В. Ф. Поповой от 15 декабря 1859 г.; 30) к А. Ф. Вельтману от 14 февраля 1860 г.; 31) к нему же от 15 марта 1860 г.; 32) к Н. Н. Муравьеву от сентября 1860 г.; 33) к Г. С. Батенькову от 29 сентября — 6 октября 1860 г.; 34) к нему же от 10 февраля 1861 г.; 35) к нему же от 25 июля 1861 г.; 36) к В. Ф. Поповой от 23 декабря 1861 г.; 37) к ней же от 11 января 1864 г.; 38) к А. Ф. Вельтману от середины 1864 г.; 39) к нему же от 3 декабря 1864 г.; 40) к В. Ф. Поповой от 21 июля 1865 г.; 41) к ней же от 21 мая 1868 г.

К числу этих эпистолярных документов в настоящем издании присоединяется еще 11 писем Раевского, обращенных к восьми адресатам.

Два из этих писем, самые ранние, к Д. Д. Куруте (1827) и к П. Д. Киселеву (1840), несмотря на их полуофициальный характер, дают большой материал для уяснения условий борьбы Раевского за улучшение его тюремного быта в Замостье и за расширение возможностей работы в Сибири. Другими письмами Раевского, иллюстрирующими эти этапы его жизни, мы не располагаем.

Третье из публикуемых писем обращено к Г. С. Батенькову (1848). Посланное с верной оказией из Иркутска в Томск, оно призвано было как-то заполнить брешь, образовавшуюся в их давних дружеских взаимоотношениях, и вылилось поэтому в автобиографический документ очень большого значения. Раевский с исключительной откровенностью осведомлял Батенькова о важнейших фактах своей биографии за четверть века, начиная от ареста и заключения в крепость в 1822 г. и кончая последними событиями своей сибирской жизни. В письме нет ни слова о революционных бурях 1848 г., но, конечно, прежде всего этими уроками истории, этими живыми впечатлениями от гибели последних цитаделей абсолютизма на Западе, обусловлен был весь тот пафос, которым проникнута исповедь Раевского и вся та боевая зарядка, которая позволила ему через тридцать лет после его политического крушения рассматривать дело декабристов как «дело всего человечества». Особенно интересны в этой связи и высказывания Раевского, характеризующие застойный быт помещичьей России сороковых годов. Раевский утверждал: «Там нечего делать: разврат и рабство, бедность и гордость, невежество и притязания на ум (...) Россия, по моему мнению, мало отошла от России времен Иоанна Грозного». С ненавистью и презрением Раевский говорил о вырождении русской правящей аристократии, не делая исключения и для тех представителей ее, которые оказались в рядах декабристов.

К числу тех немногих ссыльных декабристов, в которых Раевский видел своих единомышленников и соратников по активному участию в общественно-политической жизни Восточной Сибири, принадлежал Д. И. Завалишин. Публикуемые впервые в настоящем томе четыре письма Раевского к нему за время с 1854 по 1861 г. не только проливают свет на характер их отношений, но и дают ценный материал для правильного понимания причин скептического отношения их обоих к либерально-дворянскому реформизму пятидесятых и шестидесятых годов.

«Общество, чтение и опыт — лучший университет, а Сибирь я считаю самой высшей академией», — иронически отмечал Раевский в письме к Завалишину в 1854 г. Тридцатилетний стаж в этой «высшей академии» и позволил ему избежать тех ошибок, от которых иногда не были свободны даже самые зоркие из его современников. Этот же живой опыт общественно-политической и хозяйственной деятельности в Сибири помог Раевскому в пору революционной ситуации правильно понять взгляды Чернышевского и Добролюбова. Готовясь к поездке в Петербург и Москву, Раевский с горечью писал в конце 1857 г. Завалишину, что он ничего не ждет от либерально-дворянской общественности, которая «гниет» на корню.

Из писем Раевского к его родным в настоящей публикации впервые печатаются два письма к сестрам, Н. Ф. Бердяевой и Л. Ф. Веригиной (1855), и одно письмо к двоюродному брату — В. Г. Раевскому (1865). Письма эти дают богатый материал для уяснения трудностей материального быта ссыльного декабриста, дважды ограбленного своими сестрами: в первый раз — при дележе родового имущества в 1831 г. и во второй — при захвате ими же в 1855 г. наследства А. Ф. Раевской. Бездушные родные Раевского, с его, конечно, ведома и согласия, заклеяно было и в печати. Так, в газете «Будущность», издававшейся эмигрантом П. В. Долгоруким в Лейпциге, дважды отмечалось в 1861 г. недостойное поведение сестер Раевского, участь которого «близка сердцу всех друзей свободы» (см. об этом далее, стр. 167—168).

Последнее из неизвестных до сих пор писем Раевского относится к концу 1866 г. и обращено к литератору С. И. Черепанову, его старому сибирскому знакомцу. Это письмо является единственным известным нам откликом Раевского на глубоко, видимо, взволновавшую его публикацию в «Русском архиве» 1866 г. известных записок И. П. Липранди о Пушкине, в которых впервые, и притом полным голосом, сказано было о близких литературных и личных отношениях «первого декабриста» с Пушкиным. Записки Липранди открывали широкие возможности для выступления в печати и самого Раевского. Трудно сейчас сказать, в какой мере публикации «Русского архива» стимулировали запись рассказа поэта-декабриста о его последней встрече с Пушкиным в ночь с 5 на 6 февраля 1822 г. Еще труднее судить о том, имел или не имел этот рассказ — один из шедевров мемуарной литературы о Пушкине — какое-нибудь продолжение в не дошедших до нас полностью «Записках» Раевского. Но, независимо от того или иного ответа на эти вопросы, новые свидетельства Раевского о Пушкине в его письме к Черепанову представляют большой интерес. Этот интерес ни в какой мере не парализуется тем обстоятельством, что некоторые суждения Раевского о великом поэте, никак не отвечая общеизвестным фактам, слишком явно перекликаются с нигилистическими парадоксами незадолго перед тем появившейся статьи Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» («Русское слово», 1865). Письмо к Черепанову не оставляет никаких сомнений в том, что как литературный критик и теоретик Раевский несколько не двинулся вперед после своих известных споров с Пушкиным в 1821—1822 гг. (см. прим. к письму № 11). В этом отношении «опыта истории» для него не существовало, и полемику с Пушкиным престарелый декабрист закончил в тех же тонах, в которых он ее вел почти полвека назад в Кишиневе. Мы не знаем, читал ли Раевский статьи Белинского и дошли ли до него высказывания о Пушкине в работах Герцена и Огарева, но чрезвычайно характерно, что в своей ошибочной трактовке творчества Пушкина и его места в мировой литературе автор «Певца в темнице» солидаризировался не с основоположниками революционно-демократической критики и историографии, а с литературно-политическими памфлетами Писарева.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Ю. Г. Оксман. Из писем и записок В. Ф. Раевского. — «Красный архив», 1925, № 6, стр. 300—306. — В брошюре С. Ф. Коваля «Декабрист В. Ф. Раевский» (Иркутск, 1951) сделана была попытка изменить датировки трех из этих документов. Так, письмо Раевского от 23 ноября 1820 г. С. Коваль произвольно относит к 1821 г. (стр. 55), не учитывая ни содержания письма, ни отметки «с. Каракмазы». Между тем в с. Каракмазы Раевский стоял со своей ротой именно в 1820 г., а с июля 1821 г. до самого ареста был уже в Кишиневе. Еще более странно датировать декабрем 1821 г. (стр. 58—59) два летних письма Раевского, из которых одно пмеет в автографе точную дату «25 июня», а другое, судя по его содержанию (прибытие в Аккерман генерала Вахтена), непосредственно за ним следует. Об обстоятельствах, обусловивших захват чинами 6-го пехотного корпуса письма Раевского к Непенину, см. стр. 82 и 121.

² «Ульяновский сборник», стр. 298—302. — Уклонившись от комментирования этих исключительно интересных документов, П. С. Бейсов не разобрался и в их хронологии. Между тем точная датировка всех писем Раевского к Приклонскому не представляет особых трудностей. Самое раннее из этих писем (в публикации Бейсова — № 3, без даты) посвящено впечатлениям Раевского от прибытия в 32-й Егерский полк и от знакомства с Непениным. Известно, что в этот полк Раевский впервые был зачис-

лен 2 июля 1818 г. Следовательно, первое из писем к Приклонскому («Любезный и несравненный друг Приклонский! По прибытии моем в полк...» и пр.) надлежит датировать июлем — августом 1818 г. К тому же году относится и второе письмо Раевского, имеющее дату «25 октября». Третье письмо Раевского от 16 апреля, относится к 1819 г. и писано из с. Хворостянки (Курской губернии). Последнее из писем Раевского к Приклонскому, датированное 1 ноября, относится к тому же 1819 г. — об этом свидетельствуют упоминание о встрече с Батеньковым, происшедшей в этом году, и предложение подписаться в 1820 г. на «Украинский вестник». См. об этом периоде деятельности Раевского стр. 518.

Следует отметить, что в письмах Раевского к Приклонскому от 25 октября 1818 г. и от 16 апреля 1819 г. упоминается в числе других его каменец-подольских приятелей некий Лунин («Ульяновский сборник», стр. 298 и 300). Совершенно произвольная попытка отождествления этого Лунина с известным декабристом М. С. Луниным впервые получила отражение в одном из протоколов Военно-судной комиссии, рассматривавшей «дело» Раевского в крепости Замостье в 1827 г. Однако это недоразумение разъяснилось очень быстро, так как нетрудно было установить, что М. С. Лунин ни в период 1817—1819 гг., ни позже в Каменец-Подольске не бывал. Не учитывая этого обстоятельства, П. С. Бейсов в статье «Общественно-политические взгляды В. Ф. Раевского» вновь смелал знаменитого декабриста с его каменец-подольским однофамильцем и на основании этих «сближений» внес не мало досаднейших искажений в политическую биографию молодого Раевского («Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 428—431).

³ Письмо Раевского к неизвестной опубликовано А. Чеботаревской в книге «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII и XIX века». М., 1913, стр. 435, со следующей справкой: «Сообщено в рукописи П. Е. Щеголевым». Нынешнее местонахождение этого документа неизвестно.

⁴ См. выше публикацию М. К. Азадовского, стр. 128. — Возможно, что молодая женщина, к которой адресованы были письма Раевского, была той самой его каменец-подольской приятельницей, о которой он упоминал в письме к П. Г. Приклонскому от 1 ноября 1819 г. («Ульяновский сборник», стр. 302).

⁵ Автограф Раевского, который мы считаем концом его письма к одному из товарищей по тайной организации (первые листы этого письма до нас не дошли), сохранился в той части его архива, которая приобщена была к «делу» Раевского в качестве вещественных доказательств его «преступного образа мыслей» (ЦГВИАЛ, архив Аудиторского департамента Военного министерства, 1827, д. 42, т. 12/XI, л. 324). При опечатании бумаг Раевского листок со строками «Нет, не одно честолюбие...» случайно оказался присоединенным к рукописи «О рабстве крестьян» (то же дело, лл. 315—320). Это произвольное канцелярское соединение разрозненных бумаг Раевского осталось не замеченным ни его судьями в 1822—1827 гг., ни позднейшими исследователями (Б а з а н о в. Раевский, стр. 113; П. С. Б е й с о в — «Ульяновский сборник», стр. 252). Впервые отрывок «Нет, не одно честолюбие...» был изъят В. Г. Базановым из трактата «О рабстве крестьян» в издании «Стихотворения В. Раевского» 1952 г. (стр. 223). Но в самый текст Раевского здесь вкрались досадные ошибки: слова, подчеркнутые в автографе Раевского сотрудниками следственных органов, приняты были за авторскую правку и выделены в печати курсивом. Разумеется, и эпитет царя «кроткий» (неизвестно кем в автографе зачеркнутый) мог звучать в устах Раевского в 1820—1821 гг. только иронически.

⁶ Наиболее вероятным адресатом писем, отправленных Раевским в эту пору в Тульчин, был капитан Н. И. Комаров, которым Раевский и был введен летом 1820 г. в Общество (ЦГИА, ф. № 48, д. В. Ф. Раевского, л. 15; ср. «Ульяновский сборник», стр. 221; Б а з а н о в, Раевский, стр. 32—33). Как и И. Г. Бурпов, Н. И. Комаров был товарищем Раевского еще по Московскому университетскому благородному пансиону. В Тульчине он принадлежал к числу противников Пестеля и вместе с Бурповым возглавлял зимой 1820/21 г. умеренно-либеральное крыло Тайного общества. В январе 1821 г. на московском съезде членов Союза Благоденствия Комаров был делегатом от Тульчинской управы и после формального постановления о ликвидации Союза навсегда отошел от подпольной работы. 10 января 1825 г. Комаров был назначен состоять при 5-м пехотном корпусе и выехал из Тульчина. Во время следствия по делу декабристов, не подвергаясь аресту, он был вызван в Петербург, куда и прибыл по командировке от 19 декабря 1825 г. Дав, по официальной формулировке «Алфавита декабристов», «подробные и чистосердечные показания», полковник Комаров очень облегчил работу следственных органов, а на своих товарищей по процессу произвел впечатление предателя. Эта репутация отчасти подтверждается формуляром Комарова, обнаруженным нами в архиве Министерства внутренних дел: не вернувшись в армию, он 9 февраля 1826 г. был переименован в коллежские советники и определен чиновником особых поручений при министре финансов; 16 сентября 1826 г. назначен архангельским вице-губернатором; 3 марта 1828 г. переведен в Петербург и назначен председателем комитета по устройству Технологического института; 27 февраля 1830 г. переименован из статских советников в полковники с назначением оберквартирмейстером действующей армии в Польше; с 27 февраля 1838 г. по 7 мая 1840 г.

состоял симбирским губернатором (Формулярные списки чинов Министерства внутренних дел в ЦГИАЛ). Судя по характеру всех упоминаний Раевского о Комарове, он не знал о его предательской роли в процессе 1825—1826 гг. Об этом свидетельствует и его «Послание к К...ву» («Изгнаннык с маем и весной тебя приветствует, друг милый...»), писанное в 1828 г. (В. Раевский. Стихотворения. Л., 1952, стр. 262—263). Н. П. Огарев, характеризуя Комарова в своем «Разборе книги Корфе», отмечал, что о нем в Симбирске «еще и теперь иногда вспоминают как об одном из самых скверных губернаторов; выбыл оттуда вследствие грязной ссоры с жандармским полковником» (Н. П. Огарев. Избранные социально-политические и философские произведения, т. 1, 1952, стр. 235). Резкий отзыв об «известном подлеце» Комарове в связи с случайной встречей с ним в Италии дает Н. М. Языков в письме к родным от 28 декабря 1842 г. («Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 646). После выхода в отставку действительный статский советник Комаров жил некоторое время за границей, а затем в Петербурге, где и застрелился в мае 1853 г. Причины его самоубийства неизвестны. В примечаниях Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса к «Алфавиту декабристов» не только отсутствуют установленные нами биографические данные о Н. И. Комарове (нет даже его отчества), но и вся справка о нем ошибочно переплетена с фактами биографии его однофамильца — корнета Т. В. Комарова (ВД, т. VIII, стр. 327). В примечаниях к запискам декабриста Н. В. Басаргина инициалы Комарова ошибочно обозначены «Н. Н.» (Басаргин, стр. 10, 13, 284).

⁷ «Красный архив», 1925, № 6, стр. 302. — Как свидетельствуют показания Раевского в Следственной комиссии в 1826 г., он познакомился с Охотниковым в Кишиневе летом 1820 г. и виделся с ним «не более пяти или шести раз», но «узнал Охотникова из общей молвы и общего о нем мнения короче, нежели из обращения с ним. Этот человек, получая несколько тысяч в год от отца, тратил на себя одно жалованье. Получаемые же <им> деньги были принадлежностью бедных; все несчастные в Кишиневе знали его. Я сам был свидетелем, когда Охотников, не имея денег, продал последний бриллиантовый перстень (подарок короля прусского) за 3000 левов, дабы обеспечить участь одного израненного и бездомного офицера, служившего с ним вместе турецкую и французскую войну. Он купил ему виноградный сад и дом близ Кишинева. Известно мне, что здесь не место исчислять достоинства Охотникова, но это самоутверждение для общей пользы, строгая жизнь и чистая добродетель без личных видов глубоко врезалась в груди моей. Я тайно завидовал, что человек почти одних со мною лет так далеко ушел от меня в совершенстве нравственном, — и поклялся истребить последние недостатки в себе самом» (ЦГИА, ф. № 48, д. 149, лл. 13—14).

Об исключительном авторитете, которым пользовался Охотников в кругах передовой общественности этой поры, и о внимании к нему Пушкина говорится и в воспоминаниях И. П. Липранди («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1252—1253; о покупке Охотниковым сада бездомному ипсалиду — см. в этих же воспоминаниях, стб. 1284). Для биографии Охотникова очень ценны сведения из письма М. Ф. Орлова к жене от апреля 1823 г. (М. О. Гершензон. История молодой России. М.—Пг., 1923, стр. 34) и письмо Охотникова к П. А. Вяземскому от начала 1824 г. («Лит. наследство», т. 58, 1952, стр. 36). См. также сб. «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954, стр. 452, 469—474, и данные М. К. Азадовского, стр. 118—119 настоящего тома.

⁸ П. Е. Щеголев. Декабристы, стр. 60. — Об этом же эпизоде — см. дополнительные документальные материалы: Базанов. Раевский, стр. 11—12.

⁹ ВД, т. X, стр. 16; ЦГИА, ф. № 48, д. 87, л. 14—14 об. Цитируем по публикации С. Н. Чернова в сб. «Декабристы и их время», II, стр. 56. — Это отношение к основным положениям «Зеленой книги» лишь как к прикрытию подлинных революционных целей Тайного общества известно было и Раевскому. Какова бы ни была степень личной близости Пестеля к Раевскому, автор «Русской правды» очень высоко расценивал и организаторские и пропагандистские способности Раевского. Освобождение последнего из крепости входило в число первоочередных мероприятий, подлежавших осуществлению по планам Пестеля в первые же дни восстания войск 2-й Армии. «Ежели бы действительно мы нашли в готовности и в необходимости начать возмутительные действия, — доказывал Пестель в 1826 г., — то я полагал нужным освободить из-под ареста майора Раевского, находившегося тогда в Тирасполе, в корпусной квартире генерала Сабанеева» (ВД, т. IV, стр. 192). С этими планами Пестеля связано было и признание А. В. Поджио о его беседе с В. Л. Давыдовым (23 декабря 1825 г. в Каменке) о том, что «хотя Волковский прежде предлагал лично спасти майора Раевского и что хотя он много делал обещаний, но что теперь нечего <на него> надеяться» (ЦГИА, ф. № 48, д. 401, л. 44). Мы не отмечаем здесь гипотезы П. С. Бейсова о возможном участии Раевского в разработке некоторых положений «Русской правды» («Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 477—479), так как предположение это противоречит решительно всем фактам политической биографии Пестеля и хронологии «Русской правды». Показания Н. И. Комарова цитируются нами по книге: Довнар-Запольский. Мемуары, стр. 36.

¹⁰ А. С. Пушкин. Соч., т. VIII. СПб., 1905, стр. 590 (без даты, с условным отнесением к 1821—1822 гг.); ср. Пушкин, т. XIII, стр. 36. — Факсимильное

воспроизведение записки, нынешнее местонахождение которой неизвестно, см. в «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 659.

Записка адресована «г-ну майору Раевскому». Так как в майоры Раевский произведен был приказом от 22 апреля 1821 г., а в Кишинев переселился в начале августа того же года (см. письмо Раевского к Охотникову от 25 июля 1821 г. — «Красный архив», 1925, № 6, стр. 305), то и записку Пушкина к Раевскому надлежит датировать осенью 1821 г. или зимою 1821/22 г.

¹¹ О распространении нелегальных стихотворений Раевского, писанных им во время заключения в Тираспольской крепости, см. библиографическую справку В. Г. Базанова (Раевский, стр. 129—130), а также следственные данные о сношениях Раевского в Тирасполе с подпоручиком Бартеневым и прапорщиком Политковским («Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 664—666) и публикацию П. С. Бейсова «Дело Мозевского», в которой дана краткая информация о материалах дела III Отделения «О доносе мичмана Дюмутье на штабс-капитана Мозевского, рассевавшего (в 1822 г.) между офицерами и частными людьми возмутительные сочинения майора Раевского» («Ульяновский сборник», стр. 58—73).

¹² ЦГИАЛ, ф. № 958, оп. 1, 1823, л. 439, л. 1—4 об. — Сообщено Л. Я. Вильде.

¹³ Там же, л. 2—2 об.

¹⁴ ЦГВИА, ф. № 36, оп. 4/847, дело канцелярии дежурного генерала Главного штаба, 1826, № 53, лл. 11—14. — Сообщено Л. Я. Вильде. В этом прошении об освобождении из крепости Раевский писал: «В 1821 году объявлено мне было, что Общество более не существует. В 1822 г., февраля 6, я был арестован и с этого злополучного дня я видел только изменение темниц и стражи — не обществ. Пятый год длится неволя моя, самые воспоминания о сословии, коего уже не существовало, изгладилась из памяти моей. Ныне, при открытии важного дела, шесть членов из всего числа включили меня в новое, злонамеренное Общество, о коем никогда я не слышал» (л. 11 об.). Заканчивалось прошение изъявлением готовности принять любой приговор: «Самая отдаленная ссылка, жизнь на диких Алеутских островах, даже самая ссылка в работы, была бы мне знаком величайшей милости в сравнении с должайшей неволею, которую изведаль я бедственным опытом» (л. 13 об.).

¹⁵ Там же, лл. 16—17. — Дата письма Раевского на имя А. И. Татищева устанавливается канцелярской отметкой на прошении царю, которое при этом письме препровождалось: «К г-ну военному министру писано 19 апреля по секр(етному) жур(налу) № 736».

¹⁶ О содержании не дошедших до нас писем Раевского, посланных к родным из крепости Замостье в 1826—1827 гг., мы можем судить по рапорту его на имя генерала Д. Д. Куруты от 4 апреля 1827 г. «При отправлении меня из крепости Петропавловской, — писал Раевский, — не получил я ни одежды, ни собственных денег 180 рублей ассигнациями, кои по прибытии в С. Петербург отобраны у меня были в Зимнем дворце. В продолжении же 8-ми месячного пребывания там и такового же времени здесь вид одежды моей, состоящей из одного сюртука, рейтузов и шинели, приходит в совершенную ветхость, а так как назначенного мне, по указанию, жалования 31 рубля ассигнациями едва достаточно на стол и самые мелочные издержки, то не имею чем поправить как одежду, обувь, так и белье и осмеливаюсь внаивысшей мере просить ваше сиятельство о милостивом разрешении отправить письмо, при сем представляемое, к брату моему. Сверх того, после смерти отца моего оставшееся имение управляется сим меньшим братом моим по доверенности моей, которую отослал я к нему из крепости Тираспольской в исходе 1826 года; следовательно, она может быть и не действительна, а так как на имении состоит более 200 тысяч долгу, доходы основаны на заведении, как-то: виноградных заводах и суконной фабрике, — то без доверенности принятия заводов по подрядам не может быть законно и верно, отчего не только кредит, но и самое имение, находящееся по долгам в залоге, может пасть» (ЦГВИАЛ, ф. № 648, ч. II, св. 59, л. 4661, л. 743. — Сообщено П. С. Бейсовым). См. об этом далее, стр. 148 и 162.

¹⁷ ЦГИА, ф. № 48, д. 149, лл. 65—67. — Сообщено И. В. Порохом. — О линии поведения Сабанеева см. выше соображения М. К. Азадовского, стр. 55—63.

¹⁸ В одном из показаний В. Г. Раевского в Курской следственной комиссии 1831 г. о нелегальных связях В. Ф. Раевского с его родными (см. далее прим. 19) отмечалось, что «возвратившийся из Иркутска 3-й гильдии купец Романенко доставил от Владимира Раевского сестре его Александре письмо, коим Раевский именует Романенко своим приятелем и благодетелем». Этот купец «по сомнению в знакомстве с Владимиром Раевским» был сразу же допрошен, но от дальнейшего дознания освобожден. О приезде Романенко из Иркутска в Хворостянку упоминается в письме А. Ф. Раевской к брату от 11 июля 1831 г. См. далее прим. 23.

¹⁹ Дело по доносу В. Г. Раевского рассматривалось в течение всей второй половины 1831 г. особой следственной комиссией, образованной в Курске под председательством генерал-майора корпуса жандармов графа П. И. Апраксина. Комиссия установила, что извет Раевского лишен всякого основания, а сам доноситель должен был признать, что «извет свой составил наудачу, имея в виду случайное открытие где-либо

зла». За «ложный донос о заговоре против правительства, оклеветание разных лиц по участию будто бы в мятежных тайных обществах, за развратное поведение» В. Г. Раевский был приговорен к лишению чинов и дворянства и к ссылке в Сибирь в каторжную работу (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500). От отбытия наказания Раевский был освобожден лишь в 1843 г., после чего служил в Иркутске на солеваренном заводе. Материалы дела В. Г. Раевского положены в основание статьи П. С. Бейсова «Тайное общество братьев Раевских в Курске» («Лит. альманах», кн. 2, Курск, 1940, стр. 270—276). Следует отметить, что некоторые из выводов этой статьи о возможности существования в Курске тайного общества во главе с братьями Раевскими основаны не на критическом изучении всех документов «дела», а на произвольном усвоении Бейсовым фантастических измышлений В. Г. Раевского в тех его «показаниях», от которых сам же он отказался.

²⁰ Об обыске у В. Ф. Раевского в 1831 г. см. материалы статей Ф. Кудрявцева «Первый декабрист В. Ф. Раевский в Олонках» (сб. «Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 71—72) и П. С. Бейсова «К вопросу о литературном наследии первого декабриста В. Ф. Раевского» («Сибирские огни», 1938, № 3-4, стр. 123—131). Как свидетельствуют материалы «дела» 1831 г. (см. прим. 19), в числе изъятых у В. Ф. Раевского бумаг оказались две незначительные записочки к нему и к его жене декабриста А. Н. Муравьева от 9 июня и 10 ноября 1831 г. и около пятидесяти писем к нему сестер Александры, Натальи, Марии и Веры и братьев Григория и Петра за время с 1827 по 1831 г. Письма сопровождался обычно посылками разных домашних вещей и продуктов.

²¹ Письмо Раевского к Н. Н. Бердяеву (см. о нем стр. 133—134) сохранилось в приложениях к отмеченному выше делу III Отделения (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500, л. 45). Это письмо относилось к сентябрю 1831 г. и осталось недописанным, вероятно потому, что Раевский, получив письма сестер о смерти брата Петра, не считал уже нужным обращаться к помощи Бердяева.

²² Раевский с конца 1829 г. был женат на Авдотье Моисеевне Середкиной (1811—1876), олонской крестьянке. — Александра Федосеевна Раевская (род. 30 мая 1798 г., умерла около 1855 г.) — старшая из сестер декабриста. О ней см. далее, стр. 159—162. — Саша — дочь Раевского, родившаяся в 1830 г.

²³ Раевский имеет в виду письмо А. Ф. Раевской от 11 июля 1831 г., в котором были следующие строки: «В продолжении всех четырех лет мы часто со слезами представляли себе вашу жизнь и ваше крайнее положение, но не имели возможности помогать вам, теперь же с кончиною брата Петра Федосеевича мы бы могли все для вас сделать, но мы получаем от опекунов на все содержание наше по 100 р. на месяц, нас теперь пятеро, по сколько же нам достанется, тут и стол, и чай, и сахар, и людей одеть, и экипаж сделать, ибо у нас, кроме тяжелой четверомерстной кареты, ничего нет, — имение все без исключения в опеке по долгам: Хворостянка в 7000 подушных, Улыбышево и Морквино за подушные и в Совет до 30 000, заводы без действия, мельницы в расстройстве, суконная фабрика уничтожена; спокойствие наше зависит от сношения кредиторов <...> Grégoire обещает разделить с нами поровну, у нас теперь 500 дуп; между нами условие можем сделать такое, что каждая из нас обязана будет высылать вам ежегодно по 500 р. или по тысяче, сколько потребуете вы сами, и мы счастливы будем, ежели вы не будете ни в чем нуждаться» (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500, прилож., лл. 47—48). Ни одно из этих обещаний выполнено, однако, не было. См. далее, стр. 159—162.

²⁴ ЦГИА, ф. III Отделения, 1 эксп., 1831, д. 500, прилож., лл. 107—109.

²⁵ 11 января 1833 г. Иркутское губернское правление обратилось к губернатору Восточной Сибири с особым секретным представлением «О переписке ссыльного Раевского». В этом документе отмечалось: «Согласно предписаниям вашего высокопревосходительства от 21 ноября 1831 и 18 февраля 1832 г., все письма от ссыльного Владимира Раевского и к нему следовавшие отправляемы были в Комиссию, учрежденную по высочайшему повелению в Курске, но о получении оных последовали отношения курского гражданского губернатора, который уведомил, что упомянутая комиссия закрыта еще в ноябре месяце 1831 г. и что письма Раевского переданы по адресам. Вследствие чего и получив ныне от здешней почтовой конторы поданное на почту ссыльным Раевским письмо, следующее в город Старый Оскол на имя Александры Раевской, я считаю обязанностью испросить разрешение вашего высокопревосходительства как поступить с письмом сим и вообще с будущею перепискою Раевского».

В ответ на это представление генерал-губернатор Лавинский предложил руководствоваться «во всех подобного рода случаях» его предписанием от 16 мая 1831 г. о «точном и непременном исполнении по Восточной Сибири постановлений касательно переписки ссыльных» (Иркутский областной архив, ф. Главного управления Восточной Сибири, картон 5, д. 92, лл. 13—19).

²⁶ «Русская старина», 1902, № 3, стр. 599—606; 1903, № 4, стр. 183—188. В примечаниях к этим письмам В. В. Раевский дал краткие, но очень ценные справки о В. Ф. Поповой и ее окружении.

²⁷ Мы имеем в виду письмо Раевского к В. Ф. Поповой от 21 мая 1868 г., особенно тесно связанное с важнейшими из страниц его записок. См. публикацию М. К. Азодовского в настоящем томе, стр. 52.

²⁸ «Русская старина», 1903, № 9, стр. 582—583.

²⁹ Письмо Раевского к В. В. Ефимовой от 10 апреля 1857 г. дошло до нас без первого полулиста. Его автограф (второй полулист почтовой бумаги большого формата) предоставлен был в наше распоряжение П. Е. Щеголевым в 1929 г. Из этой части письма мы печатаем только наиболее интересные строки.

³⁰ Д о в п а р - 3 а п о л ь с к и й. Мемуары, стр. 160; ср. «Атеней», кн. III, 1926, стр. 26—28.

Послание к Батенькову («Когда над родиной моей...»), начатое в 1815—1816 гг., закончено было лишь после свидания Раевского с его адресатом в 1819 г. Биографы Раевского, исходя из неправильного предположения о вступлении его в Союз Благочестия еще в 1818 г., а не летом 1820 г., как это было в действительности, ошибочно толкуют послание к Батенькову, как свидетельство разочарования Раевского в работе Тайного общества. См., например, С. Ф. Коваль. Декабрист В. Ф. Раевский, 1951, стр. 35.

³¹ «Русские прощипки», т. II. М., 1916, стр. 108.

³² ЛБ (фонд Елагиных). Иркутским гражданским губернатором, на имя которого просил писать Раевский, с 1839 по 1848 г. был А. Н. Пятницкий. Материалы для его характеристики см. в «Воспоминаниях и рассказах деятелей Т. О.», т. II, стр. 362.

³³ «Ульяновский сборник», стр. 303—310. — Письма Раевского к Батенькову, опубликованные П. С. Бейсовым по автографам ЛБ (фонд Елагиных), не комментированы.

Первые два из дошедших до нас писем Батенькова мы относим к первой половине и к концу 1846 г., два следующих письма имеют точные даты (29 сентября—6 октября 1860 г. и 25 июля 1861 г.) и, наконец, последнее, от 10 февраля, на основании бесспорных внутренних данных должно быть приурочено к 1861 г.

В печатные тексты писем к Батенькову вкралось много ошибок, иногда весьма существенных. Так, например, в автографе: «И. И. здесь», а Бейсов печатает: «Пушкин И. И. здесь» (стр. 303); в автографе: «В 1812 г. мы оба с ним поступили в самые боевые артиллерийские роты—он в 17<-ю> легкую» Башмакова, я в 23<-ю> батарею» Гулевича— в публикации Бейсова нет фамилии Башмакова (стр. 304); Раевский пишет: «30 лет Россия не жила, но с осторожностью двигалась только под барабанный бой»— в публикации Бейсова «только» отсутствует, а предшествующее слово не подчеркнуто (стр. 305); вм. «эти подвиги» печатается «свой подвиги» (стр. 305); вм. «29 сентября 1860 г.»— «28 сентября 1860 г.»; вм. «Я писал к Любеникову»— «к Любикову» (стр. 310). В строке: «не взирая на привилегии, касты и заведения, должны были ехать в Сибирь» не прочтены слова: «не взирая» (стр. 308) и т. д. Совершенно обесмыслена в печати небольшая недатированная записка Раевского, относящаяся, вероятно, к середине 1846 г. Ввиду того что из шести строк этого автографа правильно прочитаны Бейсовым только две, приводим подлинный текст записки полностью:

«При всяком случае, а в особенности теперь, рад писать к тебе Гаври^{ла} Степак^{ыч}. Не ожидаю ответа, и — извиняю тебе. По крайней мере от Ив. Ив. Пушкина я узнал о тебе столько, сколько знать желал. Прощай. Обнимаю тебя. В. Раевский. Олонский крестьянин».

³⁴ По автографам, хранящимся в архиве А. Ф. Вельтмана в ЛБ, опубликованы П. С. Бейсовым в «Ульяновском сборнике», стр. 311—314. Одно из этих писем, датированное в автографе «14 февраля. С. Олонки», без года (№ 3 в публикации Бейсова), явно предшествует письму от 15 марта 1860 г. (№ 2 в публикации Бейсова) и по содержанию должно быть отнесено к тому же 1860 г. Письмо, датированное в автографе «3 декабря 1864 г.» (№ 4 в публикации Бейсова) неверно датировано Бейсовым 3 февраля 1864 г. Более сложен вопрос о датировке нескольких рекомендательных строк Раевского о штабс-капитане корпусе горных инженеров И. В. Басинине (письмо № 5). Посылая через него на имя Вельтмана «пакет» со своими бумагами, Раевский разъяснял, что в числе их находятся «стихи в мое дело по убийству». Это «дело» связано было с разбойничьим нападением на Раевского в самом начале 1864 г., когда он был тяжело изувечен и едва не умер. Таким образом, и записка № 5 должна быть отнесена к 1864 г.

В бумагах Вельтмана сохранилась еще одна незначительная записка Раевского без даты (предупреждение о приходе вечером в гости), относящаяся, видимо, ко времени его пребывания во второй половине 1858 г. в Москве. Первые строки автографа (с обращением к адресату) оборваны.

И. В. Б а с и н и н — сын известного сибирского промышленника, переселившегося в 50-х годах в Москву. О В. Н. Басинине и о его замечательной библиотеке в Иркутске см. свод данных в книге М. К. Азадовского «Очерки литературы и культуры в Сибири». Иркутск, 1947, стр. 16—17.

³⁵ «Ульяновский сборник», стр. 308.

³⁶ Там же, стр. 304.

³⁷ «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Под ред. М. П. Драгоманова. СПб., 1906, стр. 150—151.

³⁸ «Вестник Европы», 1907, № 6, стр. 572—573.

³⁹ «Ульяновский сборник», стр. 310—311.

1. Д. Д. КУРУТЕ

〈Крепость Замостье. 8 октября 1827 г.〉

Светлейший граф!

Письмо к брату моему имея честь представить Вашему сиятельству, осмеливаюсь наипокорнейше испрашивать разрешения Вашего об отправлении оног^о¹.

Хотя милости, оказанные мне в моем заключении, и лишают меня права вновь утруждать Ваше сиятельство просьбами, но я осмеливаюсь повторить только то, о чем я уже просил, и о том, что было милостиво разрешено



Ф. М. РАЕВСКИЙ — ОТЕЦ ДЕКАБРИСТА

Портрет маслом неустановленного художника. Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по фотографии, принадлежавшей сыну декабриста В. В. Раевскому

Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

Вами по воле его императорского высочества² цесаревича². Я очень знаю, что просить более, значило бы употребить во зло сострадание и попечительное человеколюбие Вашего сиятельства.

Сначала, после личного дозволения его императорского высочества прогулок для воздуха, мне дозволено было выходить в места открытые и через улицы, но вскоре все улицы названы были местами публичными, мне показаны были прогулки по засараям и конюшням — там, где зи-

мою снег выше колена — вот почему во всю прошлую зиму пользовался я свежим воздухом не более шести раз.

После весьма милостивого письма Вашего сиятельства мне разрешено было прохаживаться между валом и крайними строениями крепости (наравне с другими находившимися здесь арестованными офицерами).

С выездом комиссии мало-помалу прогулки сии сокращены до того, что мне показали одну самую тесную и нечистую улицу в крепости, под стенами задних фасов госпиталя, артиллерийских польских казарм и базильянского монастыря. Сперва, под предлогом, что мне *неприлично* ходить там, где работают арестанты, или где они содержатся, потом господин комендант лично объявил мне, что «первое дозволение дано было по ошибке». Первый предлог я не знаю чему приписать, ибо доселе ни суд, ни целый свет не обвиняли меня в связях с колодниками и ворами; второй еще более непонятен, ибо один или два раза можно пройти ошибкою по улице, а не четыре месяца сряду... По отнятии сего дозволения вот уже более трех месяцев как я не выходил далее 10 шагов от дверей.

Снисходительное дозволение ходить в купальни вовсе от самого начала не имело исполнения, ибо оные названы также местами публичными — как будто бы русские и польские бани, или лазни, не одинаково суть места публичные. Сверх того никто не ходит в ванны ни для публики, ни перед публикой, но и самая публика здешняя состоит из нескольких инвалидов и полковых офицеров, весьма посредственного числа жидов и ремесленников, с коими не имел бы я отрады входить в знакомство, не только ныне, но и на свободе; в сих купальнях, или лазинках, находятся отдельные покои, кои замыкаются; со мною ходит плац-адъютант и солдат в баню, а им не только каждый житель, но и каждое дитя известно. Генерал Дурасов³, видя слабость моего здоровья и твердо зная, что я здесь не имею ни знакомых, ни связей, просил за меня господина коменданта, но просьба сия, по выезде его, осталась без исполнения, а дабы не совсем пренебречь приказание Вашего сиятельства, господин комендант посылал меня в лазарет купаться в тех ваннах, где моются солдаты в разных заразительных болезнях. Дозволение равняющееся воспрещению. Русская баня топилась прежде в две и в три недели раз, но по неизвестным мне причинам вот уже 5 недель как она не топилась.

Сиятельнейший граф! Я бы не жаловался на отнятие сих предоставленных мне милостей, если бы нарушил правила моим положением на меня возложенные, я бы равнодушно видел сие утешение, если бы заключение мое было следствием вины и определение наказания, я бы вовсе молчал, если бы здоровье мое могло вынести сии опыты и, наконец, не осмелился утруждать Ваше сиятельство среди многотрудных занятий, еслиб приезжающие сюда генералы опрашивали заключенных, но вот уже другой год как я здесь, и скоро пойдет седьмой моего узничества... и их не считают за наказание — сие заключение есть только мера для узнания виновен ли я или нет.

Ваше сиятельство изволили видеть, каким путем первая комиссия⁴ шла к моему обвинению, — она составила не дело, но отличный судебный мозаик, в котором склеен вид вины, а не вина. Между тем не дни, не недели, не месяцы, но год проходит моей неволи, и я вдали не вижу конца моим бедствиям... Ах, с благодарностию принял бы я ныне какое бы то ни было наказание... дабы спастись от заключения.

Сиятельнейший граф! Чувствительному сердцу Вашему, человеколюбивой душе Вашей, конечно, известно, сколь тягостна участь человека, у которого в 24 часа отворяют только три раза дверь для подания пищи. Здесь лишен он всего, что называется в мире радостью. Здесь нет товарища для облегчения душевных мук. Целый мир его есть шесть кубических шагов.

Но если высшая власть, обеспечивая себя или общество от вредного или подозреваемого человека, по милосердию и человеколюбию предоставляет ему некоторые выгоды и, отделяя от людей, не отнимает, но предоставляет средства к сохранению здоровья и жизни, то почему же власть, посредствующая для собственных видов и выгод, уничтожает сии милости. Я знаю, что если бы повелено было надеть на меня железа и ввергнуть в подземный каземат, то исполнение с получением приказания не имело бы двух минут промешутка. Никто не сказал бы, что это для меня невыгодно и неприлично. Почему ж человеколюбивые, кроткие меры находят препятствия и невозможность в исполнении?

Мне кажется, как строгость, так и милость, когда они суть следствие воли вышней власти, иметь должны одинаковый вес.

Здесь как будто бы желают отнять последнее утешение в узах: веру в милосердие, кротость и великодушие наших русских венценосцев и повелителей. Но сомневаться в том, в чем я уверен, в чем имею столько трогательных и несомненных для меня доказательств, значило бы иметь душу черную и неблагодарную.

Я вижу, что для меня учинено все, что можно, но у меня почти все отнято, что учинено, и если не совсем, то для того только, чтобы сказать, что не отнято.

Вот почему осмеливаюсь вновь прибегнуть к снисходительному и сострадательному вниманию Вашего сиятельства. Я ничего более испрашивать не смею, как только, чтобы мне позволено было ходить в местах более открытых для воздуха, по крайней мере по осеннему времени, где есть мостовые, где зимою не занесено бывает снегом, и один только раз в неделю в купальни, кои находятся возле русских бань, и то тогда только, когда русская баня не топится, другие невыгоды я еще могу перенести.

Сиятельнейший граф! Не отвергните сей единственной просьбы моей; если я переживу бедствия мои, последствия только могут доказать, что я не заслужил отвержения, что отеческое внимание ваше обращено было не вотще... Мне нет в моем положении другой опоры, кроме провидения и Вас, — лишение сей опоры не только бы усугубило бедствия мои здесь, но оно приблизило бы меня к крайней безнадежности.

Я никогда не осмеливался просить невозможного и несообразного. Я наиничайше и наубедительнейше прошу только того, что может еще скрасить преждевременно остывающую жизнь мою.

Исполненный наиглубочайшим уважением, беспредельной преданностию и признательностью, имею счастье пребыть Вашего сиятельства обязанным, наипокорнейшим и преданным слугою

Владимир Раевский

1827 года. Октября 8 дня
Крепость Замостье.

Автограф. ЦГВИАЛ, ф. Главного аудиториата; 1826, д. 71 (дела по военно-судной части Литовского корпуса, присланные из Варшавы), лл. 102—105.

В бумагах, изъятых у Раевского в 1831 г., сохранилось ответное письмо Д. Д. Куруты от 20 октября 1827 г., в котором последний сообщал: «Письмо Ваше ко мне от 8-го числа сего октября я вносил во всеижайший доклад его императорскому высочеству цесаревичу, и по соизволению его высочества цесаревича предложено мною теперь же г-ну коменданту крепости Замостья, польских войск бригадному генералу Гуртигу, дозволить Вам: ходить в баню или в ванну во всякое время, когда Вы пожелаете, и сверх того — для поддержания Вашего здоровья чистым воздухом — прохаживаться в крепости, в тех местах, где не бывает многолюдства» (ЦГИА, ф. III Отделения, 1831, д. 500, л. 53).

Дмитрий Дмитриевич Курута (1770—1838) — генерал-лейтенант, начальник штаба в. к. Константина Павловича, главнокомандующего войсками, расположенными на территории Царства Польского. Характеризуя Куруту как администратора, пользовавшегося репутацией человека «кроткого и добродушного», Раевский говорит, что сам он вовсе не склонен был на эти слухи полагаться. См. об этом стр. 98.

¹ Это было, видимо, уже второе письмо Раевского к брату из Замостья, так как об отправке первого он ходатайствовал еще 4 апреля 1827 г. См. об этом выше, стр. 142, прим. 16.

Бесконтрольно распоряжаясь имуществом, подлежащим разделу между всеми наследниками (о ценности его см. письмо № 6 и примечания к нему), П. Ф. Раевский растратил большую его часть и в течение нескольких лет не оказывал сыновнему брату почти никакой материальной поддержки. П. Ф. Раевский умер от холеры 16 июня 1831 г. в Курской тюрьме, преданный суду по ложному доносу В. Г. Раевского (см. об этом выше, стр. 133). Еще не зная о кончине Петра, В. Ф. Раевский писал о нем Н. Н. Бердяеву: «... провидению угодно было наказать меня таким братом, которого ни совесть, ни стыд, ни увещание, <ни> самое приличие не могут заставить быть братом. Я презираю его» («Ульяновский сборник», стр. 343).

² Раевский имеет в виду официальное письмо Д. Д. Куруты на его имя от 1/12 апреля 1827 г.: «Его императорское высочество изволил приказать мне уведомить Вас, что как в высочайшем его императорского величества повелении о предании Вас суду при войсках Литовского отдельного корпуса сказано, чтобы во время производства оного суда содержать Вас в крепости Замостье, — следовательно, дозволение жить Вам на особой квартире, а не в каземате, не может иметь места; впрочем, насчет изъяснения, что якобы теперешнее место содержания Вашего хуже того, какое имели Вы в Петропавловской крепости, — его императорское высочество изволил отозваться, что изволил бывать в той крепости и, зная настоящее место содержания Вашего, при сравнении одного с другим, находит сие последнее гораздо лучшим, нежели в Петропавловской крепости» (ЦГИА, ф. III Отделения, 1831, д. 500, л. 52).

³ Генерал-майор Д у р а с о в — председатель Военно-судной комиссии по делу Раевского, учрежденной в крепости Замостье в 1827 г.

⁴ Военно-судная комиссия по делу Раевского, организованная в 1822 г. при штабе 6-го пехотного корпуса под председательством генерала И. В. Сабанеева. См. письмо № 2, прим. 1.

2. П. Д. КИСЕЛЕВУ

⟨Иркутск. Около 20 октября 1840 г.⟩

Сиятельнейший граф!

После смерти генерала Сабанеева, оставленное им обвинение, его суд, его решение никому столько не известны, как Вашему сиятельству¹. Мой протест, разбор процесса и мнение полевого аудиториата были в руках Ваших. Ваше сиятельство, переходя от трудных подвигов к новым подвигам славы и чести, могли забыть подробности дела, но сущность, основанная тогда на одних сомнительных изысканиях генерала Сабанеева, не могла быть изглажена из памяти Вашей².

С раскрытием Комитета о государственных преступниках, в январе месяце 1826 года, я был вытребован из крепости Тираспольской в крепость Петропавловскую. По окончательному решению Комитета о тайном злоумышленном обществе я был оправдан, и решением этим разъясняются изыскания и подозрения генерала Сабанеева³. Я не стану тревожить прах его; расчет за девятнадцатилетние мои несчастья он перенес в ту инстанцию, где нет степеней и оговорок.

По исполнению приговора над виновными мне предложено было июля 13-го 1826 года через генерал-адъютанта Потапова подписать выписку из дела и приговор генерала Сабанеева, т. е. признать его обвинение справедливым и взять мой протест против него обратно. Я надеялся оправдаться и потому просил как милости нового суда, вследствие чего в августе месяце того же года я был отправлен из крепости Петропавловской сперва в Варшаву, потом в крепость Замосць. По расследовании дела приговор сей высочайше учрежденной Комиссии и конфирмация его императорского высочества цесаревича заключалась в том, чтоб возвратить меня попрежнему на службу, а если и затем остаются какие-либо подозрения, то отставить от службы, включая долговременный арест в наказание, и удалить в свое имение под надзор начальства⁴. В этом виде дело мое поступило опять в Санктпетербург. Но новая Комиссия при Первом гвардейском корпусе была составлена; определение высочайше учрежденной Комиссии было найдено несовместным с моею виною, и четвертым и последним приговором я

был лишен чинов, орденов, дворянского достоинства и удален как вредный в обществе человек в Сибирь на поселение. Высочайшая конфирмация была напечатана в «Московских ведомостях» 1827 года ноября 23 в 94-м номере.

1837 года в июле месяце, почти чрез десять лет моей ссылки в Сибирь: бывший генерал-губернатор Восточной Сибири генерал-лейтенант Брю-



А. А. РАЕВСКАЯ — МАТЬ ДЕКАБРИСТА

Портрет маслом неустановленного художника. Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизводится по фотографии, принадлежавшей сыну декабриста В. В. Раевскому

Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

ский, обратя отеческое внимание на мой быт, мою новую жизнь и пр., ходатайствовал чрез его сиятельство графа Бенкендорфа, дабы мне волено было вступить в Сибирь в гражданскую службу. Ответ на предложение его превосходительства получен от 15 числа марта 1840-го года № 1352-м. Его сиятельство объясняет, что он не решился войти со вседаннейшим представлением обо мне потому, что я подвергся означенному выше приговору за неблагонамеренные поступки против правительства⁵.

Если бы его сиятельству известно было, что прежде ссылки моей находился шесть лет в строгом крепостном заключении, что по Комите...

о государственных преступниках я был оправдан, что две конфирмации не определили мне даже лишения чинов и дворянского достоинства, что по четырем комиссиям ни один человек не найден причастным к моему обвинению, следственно все вредное (если оно и было) относилось ко мне одному, без влияния на других, что между прошедшими поступками и образом мыслей моих и настоящей новой жизнию лежит промежуток в девятнадцать лет, то есть более трети всей жизни моей, — то, конечно, по известному целой России мягкосердию и человеколюбию его сиятельства, он не отказался бы уважить и дать ход представлению и ходатайству бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири.

Третий год как я страдаю изнурительной болезнью без надежды к исцелению; после утраты так давно всех общественных и наружных достоинств, для меня, собственно, нет уже ни почестей, ни вознаграждений; но я имею четырех детей: двух дочерей и двух сыновей от 9-ти до 2-х летнего возраста.

Я женился здесь в Сибири. Ни жена, ни дети не могли разделять давно прошедшей вины моей. Но с отказом графа Бенкендорфа я вижу с облитым кровию сердцем, что они должны разделять со мною при жизни и получить в наследство: мою сентенцию и титул ссыльного! Мне жить недолго, и хотя сыновья мои еще не в ревизии, но со смертию моею переход из этого сословия жене моей с детьми будет невозможен, а новым дополнением к своду законов относительно ссыльных и каторжных от 14 августа сего года я лишен права перейти в мещане или вступить в гильдию.

Я приехал в Сибирь в звании поселенца; здесь по сибирскому учреждению на общем положении переименован в крестьяне; все государственные крестьяне поступают в ведомство министра государственных имуществ⁶.

Как отец, по священному долгу, я прошу за детей моих, как крестьянин я решился прибегнуть с просьбою к министру, которому вверено благосостояние мое, как и миллионов крестьян; как ссыльный я осмеливаюсь просить начальника, которому известны вина и служба мои.

Я бы не осмелился беспокоить Ваше сиятельство, если бы не имел душевной веры в великодушие Ваше и если б просьба моя выходила из обыкновенного порядка дел. По представлению генерал-губернаторов Восточной и Западной Сибири многие сосланные по уголовным преступлениям не только на поселение, в работу, служили и служат в присутственных местах в звании канцелярских служителей и некоторые получили уже чины офицерские. Многие даже из государственных преступников возвращены в службу военную, из них некоторые также офицерами или в отставке. Были примеры милосердия, что виновным дозволялось вступить в гражданскую службу первым офицерским чином.

Болезнь и лета лишают меня возможности заслуживать вину мою на поле чести; и хотя титул канцелярского служителя не откроет мне пути к заслугам, но это звание, как милость, сотрет титул ссыльного, перенесет детей моих в круг, где способности могут открыть им путь к лучшим должностям, удалить их от примеров порока, нераздельного здесь с крестьянским бытом, и допустит, не краснея за отца, быть в обществе людей.

Если предстательства бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири, господина генерал-лейтенанта Броневского недостаточны, я осмеливаюсь надеяться на то же снисходительное внимание и подобные же выгодные отзывы настоящего генерал-губернатора Восточной Сибири, господина генерал-лейтенанта Руперта! Девятнадцать лет такой жизни, как моя, могли примирить виновного с законами. Ваша слава, Ваши подвиги поставили Вас так близко к престолу.

Предстательство Ваше, слова Ваши не могут быть не уважены. С высокой волею и возможностью творить добро, Ваше сиятельство, не только первым офицерским чином, но званием канцелярского служителя подарите

целое семейство новой, лучшей жизнью и спасете четырех малолетних детей от наследственного наказания и нравственной гибели⁷.

С истинным высокопочтанием и неограниченной преданностью имею счастье пребывать Вашего сиятельства всепокорнейший слуга, бывший майор 32-го Егерского полка

Владимир Раевский

Автограф. ЦГИА, ф. III Отделения, 1 экз., 1837, д. 157, лл. 6—9 (2-й пагинации). Выдержки из этого письма опубликованы Ф. А. Кудрявцевым в сб. «Сибирь и декабристы». Иркутск, 1925, стр. 72—73. Датируется на основании сопроводительного письма генерал-губернатора Восточной Сибири В. Я. Руперта от 21 октября 1840 г. на имя Киселева. О письмах Раевского к Киселеву от 24 февраля и 5 сентября 1823 г. см. выше-стр. 132.

Павел Дмитриевич Киселев, граф (1788—1872)— генерал-адъютант, начальник штаба 2-й Армии с 1819 по 1828 г., тесно связанный личными и служебными отношениями с вождями Южного общества, впоследствии организатор и руководитель Министерства государственных имуществ (с 1839 по 1856 г.), лидер антикрепостнического меньшинства в государственном аппарате николаевской поры.

Принимая ближайшее участие в 1822—1824 гг. в следствии по делу Раевского (материалы об этом см. в «Сборнике Русского исторического общества», т. 78. СПб., 1891, стр. 90—93), Киселев своевременно принял все меры к тому, чтобы этот персональный политический процесс не перерос в большое судебное дело о Союзе Благоденствия и о его южных «управах» (см. об этом выше, стр. 57).

Вся эта история, вскрытая во время процесса 1826 г. в связи с доносом Майборода и с показаниями о событиях 1822 г. Бурцова и Раевского, заставила Киселева представить Николаю I объяснения, в которых подтверждался только факт уничтожения Бурцовым криминальных документов, а вина самого Киселева смягчалась тем, что он якобы немедленно тогда же доложил о происшедшем главнокомандующему (А. П. Заблочкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. I. СПб., 1882, стр. 157—161, 242—255; т. IV, стр. 37—42). С этим эпизодом связан интересный рассказ А. Н. Бурцовой, вдовы Бурцова. Как свидетельствует В. Андреев в своих записках «Из кавказской старины», Бурцова «раз в откровенной беседе мне сказала: „Если бы мой покойный муж при допросе в Петербурге согласился показать, что он исполнил одно распоряжение (какое распоряжение — она не сказала) по своему произволу, а не по словесному приказанию начальника штаба, то он был бы теперь жив, но в Сибири, на каторге. Тлетью Бенкендорф и Чернышов уговаривали его мягко и с угрозами, чтобы он принял на себя исполнение этого распоряжения, так как начальник штаба 2-й Армии, — говорил он, — отказывается в отдаче такового приказа; муж мой стоял на своем и требовал очной ставки. Дать очную ставку Киселеву с ним считали почему-то неловким, — говорила Анна Николаевна, — мужа моего освободили, взяв у него только полк“» («Кавказский сборник», т. I, 1876, стр. 86).

¹ О роли Сабанеева в «деле» Раевского см. материалы доклада начальника Главного штаба на имя Николая I в 1827 г. (Щеголев. Декабристы, стр. 59—70), а также «протест» Раевского от 1 сентября 1823 г. («Ульяновский сборник», стр. 225—243) и стр. 59—63 настоящего тома. В «Автобиографической записке» 1858 г. Раевский отметил факт посещения его Киселевым в 1822 г. в Тираспольской крепости: «Начальник штаба 2-й Армии генерал Киселев был у меня в крепости и предложил возвратиться шпигу и выпустить из-под ареста, если я открою, какой в России существует „Тайный союз“. Выявить прошедшее и уже более года не существующее, выставить людей на обвинение бездоказательно — я не мог и не смел вследствие законов совести и потому я не принял шпигу и остался в крепости» (там же, стр. 224).

² Раевский, апеллируя к этим документам, имел в виду не политическую сущность своего «дела», а лишь формальные правонарушения, допущенные Сабанеевым и его подчиненными в процессе предварительного дознания и в заседаниях военного суда. Это обстоятельство снижает значимость не только «протеста», поданного Раевским 1 сентября 1823 г. через Киселева в Главный аудиториат, но и всех его позднейших оправдательных записок. На этих же своих наивных формально-казуистических позициях Раевский пытался остаться и в той «Автобиографической записке», которую он рассчитывал представить в 1858 г. царю через генерала П. П. Липранди.

³ Раевский писал об этом еще более определенно в «Автобиографической записке» 1858 г.: «Комитет о злоумышленном обществе не нашел меня виновным и освободил от Верховного уголовного суда, чем уничтожил все попытки генерала Сабанеева облечь дело мое в форму политического преступления» («Ульяновский сборник», стр. 223). В действительности же Раевский был освобожден от Верховного уголовного суда не потому, что его дело признано было не имеющим «формы политического преступления», а оттого, что ему удалось убедить Комитет о злоумышленных обществах в том, что он, Раевский, являлся членом лишь Союза Благоденствия, а о тайных

обществах, действовавших после 1821 г., уже «совершенно ничего» не слышал (ВД, т. VIII, стр. 160). Поэтому для рассмотрения дела Раевского учреждена была, по повелению Николая I, специальная Военно-судная комиссия в крепости Замостье. Об «оправдании» Раевского в 1826 г. не было и речи.

⁴ Раевский неверно информирует Киселева о решениях Комиссии военного суда, рассматривавшей его дело в Замостье, и о конфирмации ее решений в. к. Константином Павловичем. Как свидетельствуют материалы этой Военно-судной комиссии, она представила цесаревичу Константину Павловичу 22 марта 1827 г. особый рапорт, в котором устанавливалось, что, несмотря на существеннейшие правонарушения, допущенные Сабаневым в процессе следствия и суда над Раевским, «преступления» последнего обнаруживаются «довольно ясно» как материалом дознания 1822—1823 гг., так и в некоторой части собственными признаниями подсудимого. Константин Павлович, согласясь с заключением комиссии о необходимости доследования всех обстоятельств «дела Раевского», 14 апреля 1827 г. довел до сведения Николая I обо всех ошибках, допущенных Сабаневым в производстве следствия, и заключил свой рапорт следующими соображениями: «Имея в виду, что настоящее дело по важности как предметов, так и лиц, к нему прикосновенных, требует рассмотрения в высшем судилище, но между тем проходило уже оно через разные инстанции и, наконец, состояло в рассмотрении Аудиториатского департамента Главного штаба, следовательно в обратное рассмотрение оного поступить не может. С другой стороны, дабы не обременять высочайшей особы вашего императорского величества рассматриванием сего многосложного и запутанного дела, я полагал бы моим мнением: для разбора оного назначить особую комиссию, из лиц, имеющих право войти в подробное изыскание всех без исключения предметов, до кого бы оные ни относились, соображаясь при том сведениями и обстоятельствами дела, произведенного в бывшем в С. Петербурге над государственными преступниками Комитете» (ЦГИАЛ, дело Аудиториатского департамента, № 42, литера А, т. III, лл. 3—4). Это заключение, не дающее никаких оснований для суждения о том, что оно клонилось к «оправданию» Раевского, явилось основанием для создания четвертой Военно-судной комиссии по делу о революционной пропаганде в 1820—1822 гг. в войсках 16-й пехотной дивизии. Докладом этой комиссии, утвержденным командиром гвардейского корпуса и конфирмованным царем 15 октября 1827 г., закончилось «дело» Раевского.

⁵ Генерал-лейтенант Броневский, ходатайствуя, в своем обращении от 31 июля 1837 г. к Бенкендорфу, о разрешении принять Раевского «на гражданскую службу канцеляристом», опирался на указ Правительствующему сенату от 22 июля 1837 г., пятым пунктом которого предоставлено было «главным местным начальствам, по усмотрению их, разрешать сосланным в Сибирь дворянам, по истечении 10 лет после их ссылки, вступление в государственную службу нижними чинами». Ходатайство Броневского отклонено было на том якобы основании, что Раевский не принадлежал к категории тех сосланных, на которых распространялось действие указа от 22 июля 1837 г. (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 экз., 1837, д. 157, лл. 1—4, 2-й пагинации).

⁶ С. И. Черепанов, познакомившийся с Раевским и с его семьей в середине тридцатых годов, вспоминал: «В Александровском заводе я первый раз встретился с своего рода знаменитостью — крестьянином в модном фраке, цилиндре и т. п., говорившим о самых возвышенных предметах и бойко по-французски» («Древняя и новая Россия», 1876, № 8, стр. 377). Очень рано сведения о жизни Раевского в Сибири проникли и в зарубежную печать. Мы имеем в виду рассказы о встречах с Раевским в Иркутске в 1829 г., вошедшие в книгу немецкого ученого Адольфа Эрмана «Reise um die Erde» (Berlin, 1838, Bd. II, S. 80—81). Материалы Эрмана дали основание для упоминаний о Раевском в книге Шницлера «Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas et particulièrement pendant la crise de 1825» (Paris, 1847, т. II, p. 16).

⁷ Киселев, не входя в рассмотрение письма Раевского по существу и ограничившись отметкой о «непринадлежности» к нему «настоящей просьбы», 11 декабря 1840 г. сделал распоряжение о направлении письма Раевского в III Отделение на благоусмотрение Бенкендорфа, который ходатайство Раевского отклонил (ЦГИА, ф. III Отделения, 1 экз., 1837, д. 157, лл. 5 и 12).

3. Г. С. БАТЕНЬКОВУ *

<с. Олонки. Июнь—август 1848 г.>

Я получил письмо твое от ... апреля¹. Что я чувствовал, ты можешь себе представить, слезы долго мешали мне читать, — дети должны были успокоить мое нетерпение. Когда я мог уже читать сам, я прочитал его несколько раз... я выспрашивал, выпытывал каждое слово, я видел в каждом

* Публикация этого письма и комментарии к нему принадлежат Е. П. Федосеевой.

слове самого тебя... я не сердился, но был печален — зачем письмо твое состоит из трех страничек?

Я не мечтатель; время разъяснило, опыт высказал нам обязанности наши на земле. Первая, детская мысль, конечно, развилась, расцвела воображением, она не принесла того плода, которого ожидали люди, но эта мысль укреплена только размышлением, разнообразными картинами, с которыми в разных видоизменениях все человечество говорит одно и то же. Я не сожалею о прошедшем. У меня 6 ч^человек^ч детей: 2 дочер^чи^ч и 4 сына^ч... Я смотрю на них с извинительным самолюбием, с надеждою, что мысль моя остается после меня на земле. Почему ты не со мною? Ты бы обнял меня, я в этом уверен. Ты был бы полезен и мне и детям моим. Как это случилось, что чувства, тайный голос не шепнули тебе вместо Томска выбрать Иркутск?³

Чтобы успокоить тебя насчет положения (материального) моего, я в нескольких словах разъясню. Я писал к Ф. А. <Горохову>⁴, искал выгодной должности не для того, чтобы бросить мой оазис, нет — бросить приобретение 20 лет невозможно без чрезвычайно важных требований и указаний. Я хотел только как приказчик, который едет на Ирбит или Мажары<?>, иметь дело, комиссию даже, не трогая моего семейства с места. Я имею столько, чтобы прожить в довольстве с моим семейством, но в запасе ничего не имею, и на образование, учение, воспитание детей, как бы я хотел, — недостает. Я сам занимаюсь ими, но отцовские уроки не могут быть так точны и определительны, к тому же меня беспрерывно отвлекают хозяйственные занятия. Я хочу променять мой труд, мои способности на деньги, а деньги употребить на детей. Друг мой! Дети мои выросли не на паркетe, но ты отличил бы их с первого взгляда в самом лучшем кругу от других детей, в этом я уверен. Мне нужно только то, чтобы деньги начали приучать их к труду, остальное разовьется. Итак, будь покоен, не нужда заставляет меня хлопотать о выгодной должности.

Теперь познакомлю тебя с прошедшим. В Тирасполе кончилось мое поприще жизни общественной, т. е. 1822 г<ода> февраля 6. Тебе, я думаю, известно, что я управлял военными школами. <В> 1819 г. я поступил в общество *Союз обществ<енного> благоденствия* Зеленой книги. В 1823 году из того же составилось новое, к которому ты при конце принадлежал. 4 года пробыл в креп<ости> Тираспольской, 8 месяцев в Петропавловской, слишком год в креп<ости> Замосць. Из Замосць — прямо в Иркутск на почтовых. 1<-я> конфирмация генерала Сабанеева определила мне 6-летнюю частную ссылку в один из дальних городов России; Комитет о госуд<арственных> прест<упниках> ничего не сказал; меня перевезли в Варшаву, оттуда в креп<ость> Замосць. Новая комиссия или, лучше сказать, цесаревич определил: или выпустить меня с вознаграждением или, вмен<ив> арест, отставить и находиться под надзором местного начальства в своем имении. Наконец, решение это нашли слабым. Четвертый заоч<ный> суд определил мне ссылку. Михаил Павлович конфирмовал. Государь утвердил. Вот история моего удивительного процесса. Я нигде не подписал выписки, нигде не признал конфирмации. Подал два протеста: один графу Витгенштейну, другой — в Комитет⁵.

Ты хорошо понимаешь, что это не упорство, а уверенность, что за различие моих понятий, образа мыслей судить не следовало. Так я понимаю, это не фиксация, даже не конёк, но чистый расчет. Я уверен, что и четвертый суд сделал бы тоже определение, как и прежние три, т. е. или ничего или оправдал, если бы судил не заглазно. Не считая себя виновным и не оправдываясь, я доказывал справедливость моих понятий, я просил доказательств, доводов, убеждений, потому что все действия и понятия мои почитал справедливыми, законными даже. Видно, провидению так нужно было. Ты поймешь еще лучше весь ход дела, если

я подкреплю несколькими стихами из тех немногих дум, которые я писал в крепостях и в ссылке.

Смысл и содержание всех этих судов и судей слились в один простой вопрос:

«Ты людям славы зов мятежный,
Твой ранний блеск, твои надежды
И жизнь цветущую принес —
Что ж люди?... С чистою душою,
О добродетель, не искал
Я власти, силы над толпою.
Не удивленья, не похвал
От черни я безумной ждал,—
Я не был увлечен мечтою,—
Я был весь твой, я жил тобою,
Что скажут люди, я не знал!..»⁶

Это — смысл мой жизни. Теперь ты понимаешь хорошо, что мне оправдываться было бы дико и смешно. Далее, в ссылке: сначала завелась переписка — к какому разряду преступников меня причислить? Ответ был: *к общему*; по крайней мере, я считал его милостию. Через год я выписался в крестьяне, а с этим титулом сопряжены права, я ими воспользовался: занимался делами откупа, закупом хлеба и перевозкою вина, получал с лишним 3000 р(ублей) жалованья сверх части оборотов. Женился здесь и — не ошибся, что случается весьма редко⁷.

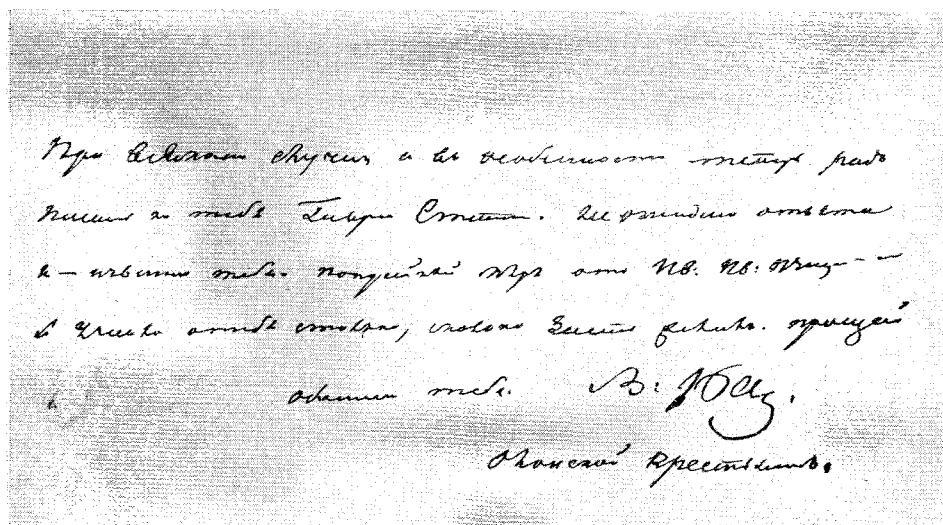
9 лет был болен затвердением печени, 9 лет ожидал смерти. Но я понял, что жизнь моя без этих физических страданий была бы не полна. Состояние мое заключается в доме в с(еле) Олонках, в 80 верст(ах) от города, на Ангаре, 30 десятин(ах) земли, мельнице о двух поставах, 13 лошадях, 15 (головах) рог(атого) скота и 40 штук(ах) английских, откормленных свиней. Я наделал много построек, имею отличный сад, снимаю средним числом ежегодно более 150 отличных арбузов, дынь до 100 шт(ук). Сверх того занимаюсь перепродажей хлеба собственнo сам или по комиссии, но последнее — редко.

Старшей дочери 18 лет, второй — 14; сыновей 4 — от 12-ти до 2-х лет. Дети все свежие, стесненность и недостаток воспитания заменяются натуральными или врожденными способностями. Да, если бы ты был со мною! Ты бы увидел представителей моих перед новым прозаическим безжизненным поколением. В гимназию отдать детей я боюсь. Надо жить самому в городе, а я на это решиться не могу: ни состояния, ни желания нет. В деревне 3 или 4 тысячи для меня довольно, а в городе жить так, как я живу здесь, нужно до 6 или 7 тыс(яч), — вот для чего я и хотел или искал иметь должность, которая доставила бы мне возможность жену и детей моих содержать в Иркутске. Я уже 19 лет женат, жена может сама распоряжаться.

Генер(ал)-губерн(атор) Броневский, г(енерал)-г(убернатор) Руперт, гр(аф) Киселев, сестра моя Надежда Бердяева хлопотали о дозволении мне выслуживаться здесь, но звучное: *нет!* — было всякий раз ответом⁸. Сестра Над(ежда) недавно просила г(рафа) Орлова о дозволении мне отправить детей моих к родствен(никам) в Россию для образования — то же самое: *нет*. Видно нужно, чтобы они остались здесь. Верю с Шекспиром, что в мире есть тайны, которых никакой мудрец не видит и не понимает у себя под носом. Я как-то сильно надеюсь на милость всевидящего бога. Здоровье мое возродилось после 9-летних мучений, еще ни одного седого волоса, все зубы крепки, зрение хорошо, но пишу и читаю с очками — вот весь ущерб физический. Воображение, память, конечно, не юношеские, но эту утрату заменил безошибочный взгляд на лица, действия и предметы. С кем бы я ни говорил, я чувствую, что я вправе

говорить, как думаю, — вот приобретения или изменения моральные. Теперь ты видишь меня и мой быт.

Если тебе невозможно будет проситься хотя на горячие минеральные воды сюда, что, может быть, для тебя было бы очень полезно, то я найду случай видет^{ся}, быть у тебя в Томске. Мне не хочется умереть, не обнявши тебя. Я был в кругу лучшего юношества в России, но если чувствовал к кому-нибудь нечто вроде дружбы, так это по сравнению <!> с тобою. Напрасно судьба держала нас всегда на двух противоположных краях России, — ты всегда был со мною, и те же чувства, то же направление, те же нравственные успехи были причиною, что одно и то же определение положило конец нашей общественной деятельности. В Петропавл<овской> кре-



Про Виктора Батенькова и его необыкновенную историю
 узнал я, что ты тут же. В Сибири узнал я, что тебя нет здесь. Все,
 кто знал тебя, считали тебя умершим в Шлиссельбурге. Много перестрадал
 я за тебя. Эта неизвестность, тайна у дверей, мысль, что никто в мире не
 знает, где я, что я, — тяжелее всего в заключении. 20 лет! О друг мой, по-
 нимаю твою гробовую жизнь! В 6 лет темничного заключения я, по край-
 ней мере, посетил после Тираспольской темницы Петропавловскую, Вар-
 шавский ордонанс-гауз, Замосць, — все разнообразные стражи, судьи,
 стены, — я не роптал и не ропщу. При конце прилагаю стихи, которые
 я написал здесь, ожидая развязки в моей драме⁹. Они высказывают то,
 чего простая холодная проза выразить не может.

В. Ф. Раевский.

Александр Ржевский.

АВТОГРАФ ЗАПИСКИ В. Ф. РАЕВСКОГО К Г. С. БАТЕНЬКОВУ, 1846 г.

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

п<ости> узнал я, что ты тут же. В Сибири узнал я, что тебя нет здесь. Все, кто знал тебя, считали тебя умершим в Шлиссельбурге. Много перестрадал я за тебя. Эта неизвестность, тайна у дверей, мысль, что никто в мире не знает, где я, что я, — тяжелее всего в заключении. 20 лет! О друг мой, понимаю твою гробовую жизнь! В 6 лет темничного заключения я, по крайней мере, посетил после Тираспольской темницы Петропавловскую, Варшавский ордонанс-гауз, Замосць, — все разнообразные стражи, судьи, стены, — я не роптал и не ропщу. При конце прилагаю стихи, которые я написал здесь, ожидая развязки в моей драме⁹. Они высказывают то, чего простая холодная проза выразить не может.

Твое письмо от апреля получил я через губернатора. Июнь, следственно, оно шло обыкновенным порядком — чрез 3-е Отд<еление> к<анцелярии> е. в. Я буду отвечать так же, но это отправляю при случае. К осени приготовь мне ответ на это. Выскажи мне все... все... Ох, друг мой! Мрачны, тяжелы были думы мои о тебе... Но не сожалею, — неосторожно, даже не извинительно, были цель или средство к достижению цели (мы перемежали одно с другим), но ты выкупил эту ошибку. Молю бога, чтобы в последние годы твоей жизни ты был здоров. Если бы ты был с нами, мы сберегли бы здоровье твое. Жена и дети мой давно знают тебя, они привыкли думать и видеть моей головою и моими глазами. Ты внес бы новую жизнь к нам. Конечно, у тебя есть близкие добрые приятели в Томске¹⁰,

но понимают ли они требования твоей души? Знают ли они, что лежит у тебя на сердце? Прочтут ли они в твоём молчании твои думы? Нет, конечно, нет. Понятия их, желания, требования умственные — не шли вместе или рядом с твоими. Они даже не остановятся размышлением, не будут и не могут знать, в чём состоит существенное твоё удовольствие. Не печалься, мы переменили только место, форму, и это относительно — при общем неустройстве; но польза этой перемены не подвержена гаданиям и толкам, а жизнь пройти лучше так, как мы прошли, нежели протянуть ее без боли, без движений и без пользы и цели. Что отняли люди, то отдаст бог.

В ответ на совет твой пристроить в дом Мар<ии> Ник<олаевны> Волк<онской>¹¹ детей моих разъясняю тебе: 1. ты не знаешь детей моих, 2. ты не знаешь княгини Мар<ии> Ник<олаевны>. Одна из дочерей моих жила около года у ней. Мои дети не рождены пожирать, поесть чужой труд, ходить на помочах, бояться укушения блохи, проводить жизнь в пляске; мои дети — плебеи, им предстоит тяжелый умственный труд — как средство для жизни и в жизни. Наши понятия не сошлись и не сойдутся, да подобные люди и понятий ни о чём иметь не могут. Малограмотные по беспечности родителей, малоземные по направлению от детства, безжизненные от дурного, бестолкового физического направления и приготовления, они, эти люди, достойны более сожаления, нежели упреков, они суть как трава в поле, которая не идет в пищу скоту и потому только вредна, что не приносит пользы. Если бы ты посмотрел на вашего диктатора, на его половину¹², на Волк<онского> и других, — ты понял бы меня, что ожидания, мысль, видения ваши были детская ошибка. Большое, огромное, дипломатическое дело, дело всего человечества в руках воспитанников театральной школы или дирекции!¹³

О твоей жизни при Аракчееве я многое узнал от бывшего его дворецкого, музыканта и иногда писца Сем. Ал. Алексеева, который с женою принесены в жертву при совершении тризны над телом его любовницы. Этот Алексеев был прощен. К нему прислали сына из Грузина по его просьбе. Он недавно умер¹⁴.

Податель сего письма может тебе дать точное понятие о нашем состоянии, положении в этом свете, обо всем: он несколько лет жил в 15 верстах от нас, бывал часто у нас и мы бывали у них.

Осенью ты получил другое письмо и приготовь ответ на это. Расскажи мне все. Мне писали, что ты был очень болен, но это известие получил я после твоего письма. Я не знаю как, чем могу я утешить, успокоить тебя. Молю бога, чтобы он дал тебе столько же силы, столько же ясных дней, как мне в этой ссылке. За умственную или душевную твою крепость я покоен, но силы физические, конечно, потерпели много от 20-летней однотонной, темной, оцепенелой жизни.

Теперь дам отчет о моем прежнем семействе. Сестра Наталья умерла, она была замужем за весьма честным и хорошим человеком — Алисовым; оба они уже умерли и оставили 3 <человек> детей и 400 душ, хорошее имение. Сестра Александра осталась девушкой, ей до 50 лет; она вызывает дочь мою Александру и назначает наследницею, если приедет. Надежда за Бердяевым. Другие три за Веригиным, Поповым и Городецким; были еще два брата меньшие — оба умерли. Один из них, самый младший, пробыл 5 лет в Шлиссельбурге по подозрению, был в Замосце при производстве суда надо мною, найден невинным и возвращен домой, чтоб умереть¹⁵.

Я во все время не получил ничего из дому. Второй брат, промотав, что мог, вошел в большие долги, умер и оставил остатки некогда отличного имения; сестры разделили эти остатки и досталось каждой по 100 душ с небольшим¹⁶. С того времени, как я женился, имею детей здесь

и привык к климату, т. е. акклиматизировался, — я прежнюю родину не считаю родиной... там всё было бы мрачно, напоминало бы прежнюю цветущую, юную, прекрасную жизнь, мечты, которые обещали мне рай земной! Отца, братьев, сестер, людей, которые любили меня. Там нечего делать: разврат и рабство, бедность и гордость, невежество и притязания на ум — вот как я вижу и понимаю людей в том крае, где родился. Здесь все еще ново, здесь все отзывается европейской цивилизацией, понятиями уже не русскими. Россия, по моему мнению, мало отошла от России времен Иоан(на) Грозного. Наружный лоск, лакировка кожи не доказывают прочности ее; <я> не безусловный читатель Монтескье, но совершенно согласен с его определением России и народа, особенно дворянства русского¹⁷. Сибирь для меня еще ближе потому, что я нашел здесь все выгоды, все средства к жизни без помощи от родных, и потому, что здесь никто не встретит меня с обидным предубеждением.

Это письмо написано давно, но поездка подателя все отлагалась и отлагалась до сего дня. С того времени перемен много.

Я получил <письмо> от управляющего рязиловскими приисками Якорнова, он предлагает мне дело по приискам, найму рабочих на прииски, вызывает в Усть-Анжу, где Преображенская контора. Не может ли г. Осташев¹⁸ мне доверить то же дело? Я сегодня выезжаю туда, т. е. в Усть-Анжу. У них новостей много: Г. М. тебе расскажет все¹⁹. Не только голова, тело мое требует неопределенно-сильной деятельности с тех пор как я здоров.

После поста старшую дочь мою я отдаю, или она выходит замуж за молодого, образованного, нравственного человека. Он заседателем за неимением мест лучше, два года как приехал из Вильно, дворянин, фамилия его Бернатович. Все подробности узнаешь от подателя. Мы имеем отличного генерал-губернатора²⁰. Сибирь давно, давно была под одной спекулятивной промыш(ленной) и обидной для человечества администрацией. Наконец, государь сделал прекрасный, безошибочный выбор: и генер(ал)-губ(ернатор) и губернатор и приехавшие с ними чиновники, кажется, воодушевлены той высокой идеей, которую так рьяно, так зычно высказывает девятнадцатый век или начало этого века*. Прости, мой друг! Молю бога о твоём *счастьи*, как ты понимаешь его. Пиши ко мне больше. Я не могу тебе высказать всего, что чувствую, что хотел бы сказать. Обнимаю много, много раз и вижу тебя перед собою... кончать не хочется, но надо кончить. Сегодня ехать, ближе к тебе 1000 верстами, но все еще не к тебе.

Прощай. В. Раевский

Все тебя обнимают, целуют и жена и дети.

Автограф. ГПБ. Архив Г. С. Батенькова, № 21. Дата письма определяется на основании содержащихся в нем свидетельств о семье Раевского — упоминание о 18-летнем возрасте старшей дочери Александры, родившейся в 1830 г., и отсутствие данных о сыне Вадиме, родившемся 16 октября 1848 г. В самом тексте указано время получения Раевским апрельского письма Батенькова: *июнь*.

О переписке Раевского с Батеньковым см. стр. 135—136. О самом Батенькове см. далее статью Т. Г. Снытко «Г. С. Батеньков-литератор», стр. 289—320.

¹ Письмо это не сохранилось.

² У Раевского было девять человек детей, из них шесть сыновей и три дочери. Сыновья: Константин (род. 1830 г. — ум. в том же году), Юлий (род. 1836 г.), Александр (род. 1840 г.), Михаил (род. 15 ноября 1844 г. — ум. 2 апреля 1882 г.), Валерий (род. 1846 г. — ум. 15 июля 1902 г.) и Вадим (род. 16 октября 1848 г. — ум. 27 июля 1882 г.). Дочери: Александра, по мужу Бернатович, Вера, по мужу Ефимова, Софья, по мужу Дьяченко.

³ О прибытии Батенькова в 1846 г. в Томск см. выше, стр. 135—136.

* Не в политическом бурном, нестройном виде, который я отвергал, но в точных и ясных идеях о пользе, достоинстве человечества и прочем. — *Прим. В. Ф. Раевского.*

⁴ Философ Александрович Г о р х о в — сибирский золотопромышленник, приятель Батенькова. См. о нем выше, стр. 110, 126.

Раевский представил не два, а три протеста: 1) в феврале 1823 г. в Полевой аудитории 2-й Армии; 2) 1 сентября 1823 г. главнокомандующему 2-й Армии П. Х. Витгенштейну (озаглавлен: «Дополнение» к протесту); 3) в 1826 г. в Следственный комитет (озаглавлен: «Оправдание»).

⁶ Раевский цитирует строки из своего послания к дочери Александре Владимировне Бернатович («Мой милый друг, твой час пробил...»). В общеизвестной позднейшей редакции послания строки эти существенно изменены.

⁷ О жене Раевского см. прим. 22 к вступительной статье.

⁸ Об этих хлопотах за Раевского см. выше, письмо № 2 и прим. к нему.

⁹ Это стихотворное приложение к письму не сохранилось.

¹⁰ Батеньков жил в трех верстах от Томска в своем доме («Соломенном дворце»).

¹¹ Мария Николаевна Волконская, урожд. Раевская (1807—1867).

¹² Сергей Петрович Трубецкой (1790—1860) — один из организаторов и вождей Северного общества. Жена его — Екатерина Ивановна.

¹³ Иронически характеризую князей С. Г. Волконского и С. П. Трубецкого как «воспитанников театральной школы», Раевский имеет, вероятно, в виду наличие у них обоих лишь так называемого «домашнего образования» и близость их с актерами и актрисами, собиравшимися в салоне начальника театральной школы А. А. Шаховского, известного драматурга и режиссера. Об этом салоне см. сводку материалов в примечаниях к «Воспоминаниям П. А. Катенина о Пушкине» («Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 646—647).

¹⁴ Семен Ал. Алексеев — дворецкий в имении Грузино, крепостной Аракчеева. «Сей дворовый человек имел на своей ответственности мирской заемный банк, вел в Грузине всю домашнюю переписку и был первым дворовым человеком. Получает он 600 рублей жалования, особую квартиру, все содержание, няньку к его детям и имеет собственного капитала в мирском банке 1500 рублей» (ГПБ, архив Н. К. Шильдера, к. 36, № 16, л. 7). Имел детей: сына и дочь. Был женат на Дарье Константиновне, принимавшей 10 сентября 1825 г. участие в убийстве Настасьи Минкиной, фаворитки Аракчеева. Во время следствия по этому делу сознался «в разговорах, коим <и> внушил некоторым из здоровых людей, а в числе их и самому убийце, о убийстве покойной». (Из донесения Клейнмихеля Александру I от 15 ноября 1825 г. Копия. — Там же, л. 27).

¹⁵ Григорий Раевский, арестованный в Одессе в 1822 г. См. о нем выше, стр. 103—104, 125.

¹⁶ О разорении родных Раевского после смерти его отца см. выше, стр. 142.

¹⁷ О высказываниях Монтескье о русском дворянстве см. далее письмо № 8, прим. 4.

¹⁸ Иван Дмитриевич Асташев — томский золотопромышленник, один из ближайших друзей Батенькова.

¹⁹ Кто такой «Г. М.» — установить не удалось.

²⁰ Николай Николаевич Муравьев (с 1858 г. граф Амурский) (1809—1881) — генерал-губернатор Восточной Сибири с 5 сентября 1847 г. по 19 февраля 1861 г. См. о нем письма №№ 8 и 11

4. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ *

«Иркутск. Конец 1854 г.»

Убедительно прошу Вас, почтенный и благородный Дмитрий Иринархович, не остави(ть) Юлия своим вниманием, советами, указаниями. Жизнь его начинается. Ветренность и рассеянность или рассеяние не мешают ему понимать все хорошее, полезное и благородное. Общество, чтение и опыт — лучший университет, а Сибирь я считаю самой высшей академией. Остаюсь всегда искренно, неограниченно уважающий Вас

Влад. Раевский

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, л. 39.

Датируется по времени выезда Ю. В. Раевского из Иркутска на службу в Читу в конце 1854 г. В начале 1855 г. В. Ф. Раевский писал о нем сестре: «Старший сын мой, Юлий, в экспедиции на Амуре, за отличие произведен в офицеры...» (см. стр. 160). В 1858 г. сотник Ю. В. Раевский был адъютантом военного губернатора Забайкальской области генерала М. С. Корсакова. О Ю. В. Раевском см. в воспоминаниях В. Ф. Раевского о поездке в 1858 г. в Москву и в его же письме к В. Ф. Попоной от 15 декабря 1859 г. («Русская старина», 1903, № 4, стр. 183—184).

* Публикация этого письма, как и остальных писем к Завалишину (№№ 7—9), — М. Ю. Барановской.

Блестящая политическая и интимно-бытовая характеристика Раевского и Завалишина дана в письме М. А. Бакунина к Герцену от 7 ноября 1860 г. («Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». СПб., 1906, стр. 150—152. См. выдержки из этого письма выше, стр. 137).

5. Л. Ф. ВЕРИГИНОЙ

〈Иркутск. Начало 1855 г.〉

Милый и добрый мой друг
Любовь Федосевна!

После неожиданной и преждевременной смерти сестры нашей, Александры Федосевны, каждую почту я ожидал уведомления от тебя, я думал, что, возлагая последнюю волю и все надежды свои в исполнении на тебя, она



Е. М. РАЕВСКАЯ — ЖЕНА ДЕКАБРИСТА

Фотография, принадлежавшая сыну декабриста В. В. Раевскому
Собрание Ю. Г. Оксмана, Саратов

умирала покойно и последний ее взгляд и мысль обратилась на тебя, мой друг¹.

Прилагаю копию с письма ее к тебе². Доверенность или уверенность ее к тебе так сильна, трогательна, что я без слез никогда не мог читать этого письма; с тою же доверенностию пишу к тебе теперь, мой милый друг, ангел мой, — участь и вся будущность твоего брата, его больной жены и восьми человек детей в твоих руках.

В продолжение 30 лет я не просил и не получал ни одной копейки от сестер моих³, я не получил ничего из наследства отца и матери моей, я переносил все лишения и надеялся только на бога, на труд и собственные силы.

Ни с кем не хотел я делиться моими тайными муками, тем более с сестрами, у которых были свои заботы. Необходимость заставила разъяснить тебе мое настоящее положение: две дочери мои замужем за чиновниками, которые получают хорошее жалованье, но смерть, болезнь, даже лишение места может вернуть их в бедность, а у меньшей дочери уже есть дети; хотя они дворяне, но у них нет ни родового, ни приобретенного имени.

Старший сын мой, Юлий, в экспедиции на Амуре; за отличие произведен в офицеры, но жалованье в службе казачей так мало, что я должен поддерживать его. Два сына в гимназии: один — в 5-м, другой — в 4-м классах. Содержание их мне стоит до 500 руб. серебром. Трое малолетних детей еще дома на руках у матери, которая девятый уже год больна. Этих трех надо также готовить, как старших. Я получаю жалованье, из которого содержу все семейство; на днях сгорела мельница, которая приносила мне до 250 руб. сер. в год. При таких расходах денег у меня нет.

Тяжел мой труд! Необходимость заставляет меня нередко стоять и принимать приказания от таких людей, которые и дело свое знают хуже меня и по званию своему стояли бы в передней вашей.

Со страхом смотрю я на будущность детей моих, мне уже 60 лет.

Исполнением завещания и ангельской святой воли сестры нашей ты подарить все семейство брата своего новой и лучшей жизнью; после долговременных тяжелых испытаний на земле, при конце жизни я вздохну легче и благословлю вас и единственное дитя твое, а бог услышит мольбы мои. Ты сама мать и хотя положение наше не одинаково, но ты понимаешь чувства мои... У тебя одно дитя, у меня 8 человек в неопределенном положении.

Прощай, мой милый друг. Поспеш! уведомить меня обо всем, я пишу сегодня к всем сестрам. В одном из писем Александры Федосевны я вычитал: «Сестры любят вас, они понимают положение ваше, в них я уверена».

Засвидетельствуй мое почтение Александру Михайловичу⁴, я остаюсь всегда тот же с искренней любовью брат твой

Влад. Раевский

Копия, скрепленная подписью Раевского, в собрании Ю. Г. Оксмана (Саратов). Любовь Федосеевна Веригина (1808—1881) — сестра В. Ф. Раевского.

¹ Раевский имеет в виду завещание А. Ф. Раевской, о котором см. письмо № 6.

² Письмо это не сохранилось.

³ Отец Раевского умер 16 марта 1824 г. Мать — 6 февраля 1810 г. Из четырех братьев Раевского к концу 1831 г. в живых не осталось ни одного.

В бумагах, отобранных у Раевского при его аресте в 1822 г., сохранился листок, на котором его рукою сделан перечень всех братьев и сестер Раевских с указанием точных дат их рождения. В перечень этот он включил сведения и о себе самом, но не отметил даты рождения своего брата Александра, умершего весной 1819 г. (см. «Ульяновский сборник», стр. 298). Приводим эту справку полностью, по автографу ЦГВИАЛ (архив Главного аудиториата, дело Раевского, 1827, т. 12/XV, л. 189):

«Андрей — 1794, января 15
Влад(имир) — 1795, марта 28
Наталья — 1796, апреля 17
Александр — 1798, мая 30
Надежда — 1800, сентября 7

Петр — 1801, октября 29 дня
Григорий — 1803, декабря 19
Марья — 1806, июля 23
Вера — 1807, июля 3
Любовь — 1808, августа 27».

⁴ Александр Михайлович Веригин (1809—1875) — муж Л. Ф. Раевской (с 1835 г.), помещик Курской губернии.

6. Н. Ф. БЕРДЯЕВОЙ

«с. Олонки. 5 марта 1855 г.»

Любезный и бесценный друг мой Надежда Федосевна.

Давно, очень давно не получал я писем от тебя и потому, не зная где ты, решил чрез Зин(аид)у Николаевну послать это письмо, по содержанию столь важное для меня¹.

Тебе известно, что добрая сестра моя, Александра Федосевна, заботилась передать мне и детям моим свое имение. В 1850 году ты мне писала об этом и сделала вопрос: «Как это сделать?» Я не отвечал потому, что мне было тяжело и совестно рассчитывать на имение при жизни и переписываться о смерти сестры моей, которую я так любил и которая ко мне была ближе всех.

Все сестры хорошо знают, что со дня ссылки моей в продолжение 29 лет я не получал от них никакого денежного пособия, я не просил и не требовал, надеясь на бога и собственные силы.

Но разбери и рассуди справедливо: законы определили лишить меня имения, но те же законы никогда *не воспрещали* привести в деньги часть, принадлежащую мне, и передать мне. Не прямой ли я наследник после матери и отца? Судебным приговором я лишен права владеть имением, но не права наследства, не родового моего происхождения, т. е. называться и быть сыном своих отца и матери и братом сестер моих. Ты скажешь: «имение их было расстроено и потом поступило в опеку». Согласен. Но разве я расстроил имение и разве сестры мои отступились от расстроенного имения?.. Нет, они даже не уведомили меня о расточительности Петра — я ли виноват?

Как скоро я узнал, что у них делалось дома, — я лично и потом письменно решился представить цесаревичу Константину Павловичу опасения мои насчет отцовского и материнского наследства (материнское имение Хворостянка было свободно от долгов), и повелением его императорского высочества тогда же наложено было *запрещение* на мою часть имения. По этому распоряжению у меня хранится переписка. «Имение было в опеке, опека не имела права вмешиваться в это дело». Точно так, но сестры имели полное, неотъемлемое право вознаградить меня за имение, *приобретенное ими вследствие моего несчастия*. Если бы я не был сослан, много ли бы они получили? Права их основаны на гибели только брата и брат этот еще жив²...

Они ничего не сделали в пользу брата своего и прямого наследника, ничем не обеспечили меня. Следственно, не законами и высшей властью, но судом и приговором сестер моих я осужден на бедность, тяжелый труд и нищету до гроба... Что я им сделал? Я виноват перед законами, не перед ними. Сначала я почувствовал справедливое негодование, мне было стыдно и обидно за них, но я был в силах трудиться и простил им в душе. Но простил ли им бог — это еще тайна... Последствия докажут. Не на розах уснула добрая сестра и друг мой Александра Федосевна.

По крайней мере, умирая она спешила, старалась успокоить свою совесть, она завещала и отдала *все* имение моим детям, написала духовную, которая, к сожалению, не засвидетельствована по форме (но благородное дело, дело чести и справедливости не подчиняются или не требуют юридических форм). В письме этом она *умоляет* Любовь Федосевну привести непременно в исполнение ее завещание и передать имение детям моим. Не это одно, все письма ее выражают и повторяют одно и то же святое чувство и желание. Дело это тяжело лежало у ней на душе.

«Как это сделать?» — был твой вопрос. *Очень просто — выполнить свято и буквально завещание сестры.*

Прокурор Ефимов и горный исправник Бернатович, оба родовые или потомственные дворяне, следственно, обе мои дочери имеют право на владение поместьями. Старший сын мой, Юлий, уже произведен за отличие в офицеры и с чином войскового старшины приобретает потомственное дворянство.

Не вызывая человеколюбие, соучастие, честь, совесть и религию, так сильно говорящих за меня, я прошу одной холодной справедливости. Милый друг мой, мы оба ушли далеко от колыбели и скоро придет

неизбежный, роковой расчет за наши дела на земле. Не откажи мне в единственной и убедительной моей просьбе: напиши к Любови Федосевне и другим сестрам: ты знала непререкаемую волю покойной сестры, которая так сильно и трогательно выражена в письме к Люб(ови) Фед(осевне). Исполнение ее завещания не есть *жертва* с их стороны, но мир с совестью, условие справедливости и чести и мир с богом.

У всех сестер моих есть чем жить, я ничего не имею. Какая будущность предстоит мне, когда усталость и лета подавят мои физические и моральные силы? У меня на отчете еще 6 челов(ек) детей. Юлий на службе, два сына в гимназии, трое малолетних дома и больная жена. Младшей дочери 4 года, мне уже 60.—29 лет в трудах, иногда до изнурения, провел я жизнь мою в ссылке. Бог, один только он, и взгляд на жену и детей поддерживал мои силы. Кроме такого же труда и бедности я ничего не могу оставить моим детям. Говорить и думать о будущности моих детей мне всегда было больно и тяжело. Не светла она!

«В последние минуты твоей жизни *помни*, что на тебе лежит огромная обязанность сделать счастливым целое семейство и *успокоить прах мой*».

Друг мой, милая сестра, пожалейте нас и умершую сестру. И я умру спокойно и с признательностию³. Дети мои, не зная жизни комфортной, будут знать, что они обязаны новой, безбедной и лучшей жизнью *вам*. Прощай, ангел мой. В надежде, что голос мой отзовется и не заглохнет в твоём добром сердце, я с тою же искреннею любовью

Остаюсь брат твой Влад. Раевский

1. Вера Федосевна писала мне коротенькое уведомление, а потом не отвечала.

2. Любовь Федосевна не пишет ни слова — подожду и буду писать чрез губернатора. Мне нужен решительный ответ.

3. Письмо мое к Любови Федосевне и письмо к ней же от Александры Федосевны прилагаю⁴.

Марта 5 дня 1855 года

С. Олонки.

Копия, скрепленная подписью Раевского, в собрании Ю. Г. Оксмана (Саратов). Надежда Федосеевна Бердяева (р. 1800) — сестра В. Ф. Раевского.

¹ Зинаида Николаевна — З. Н. Траскина, дочь Н. Ф. Бердяевой, жена харьковского губернатора А. С. Траскина.

² Как свидетельствует справка курского гражданского губернатора от 15 октября 1827 г., после смерти отца В. Ф. Раевского осталось около трех тысяч десятин земли и 500 душ крестьян, из коих 300 заложены были с 1818 г. в московском Опекунском совете. Все же остальное имущество находилось под запретом впрямь до удовлетворения казенных и партикулярных долгов Ф. М. Раевского на сумму около 172 тыс. руб. (ЦГИАЛ, д. 42, т. II, лл. 45—46). О гибели этого имущества см. выше, стр. 142 и 156.

³ Сестры не выполняли завещания А. Ф. Раевской ни после настоящего письма, ни после свидания их с Раевским в 1858 г. Сведения об ограблении Раевского его сестрами попали в зарубежную нелегальную печать. Это причинило немало огорчений Раевскому и вызвало его разрыв с двумя из сестер. В письме к В. Ф. Поповой от 21 мая 1868 г. Раевский с горечью отмечал: «Веригина имеет деньги на поездку в Париж и отказывает мне в такой незначительной помощи. О Бердяевой мне и говорить больно: она, после сорокалетней разлуки, не хотела видиться со мною. Я ли виноват, что в «Будущности» огласили их поступок со мною? Неужели они думают, что это тайна» («Русская старина», 1902, № 3, стр. 605). Об этом см. далее, письмо № 10, прим. 5.

⁴ См. письмо № 5 и прим. к нему.

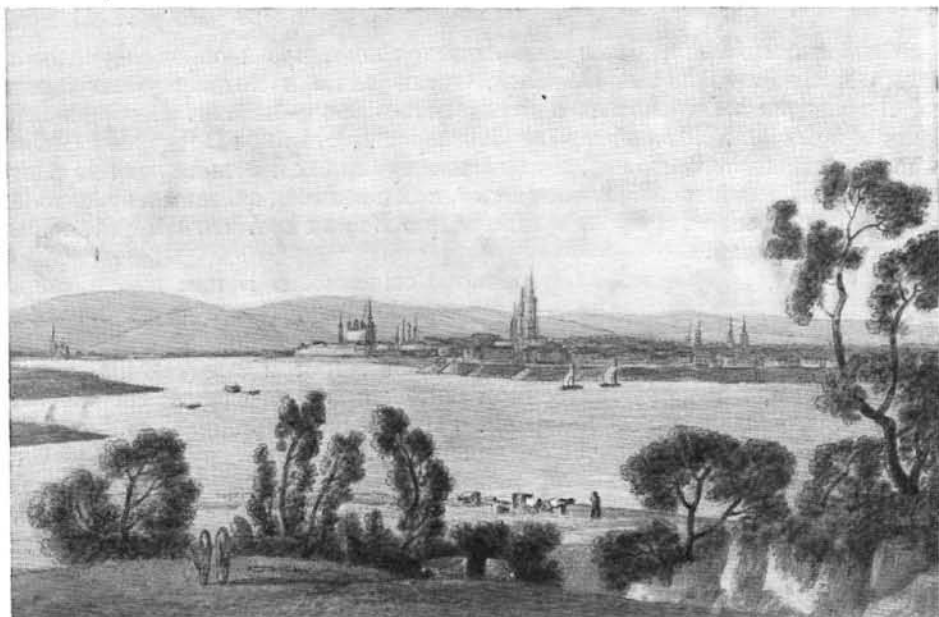
7. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

⟨Александровский завод.
12 сентября 1857 г.⟩

На письмо Ваше, Димитрий Иринархович, я не отвечал тогда же потому, что думал отправить сына моего раньше и с ним писать¹. Теперь отправляю его. Но сегодня узнал я, что Вы имеете желание переехать.

в Иркутск² или совсем уехать в Россию; если б Вы спросили моего мнения, я бы вот что сказал: при Ваших познаниях и если Вы захотите пустить их в дело и цену — в Иркутске будете иметь безбедное содержание и Ваш труд, благородный и полезный, не будет занятием без последствий и признательности, как в Чите.

Если Вы будете в Иркутске, я также просил бы Вас, как и теперь, просить Вас взять моего сына на Ваше попечение и на условиях более для Вас выгодных. К Федору Владимировичу³ писал я о предметах и времени занятий с Вами, т. е. 4 дня в неделю математикой и французским языком за 20 р. сер. в месяц. Назначение дней и разделение предметов зависит от Вас. О книгах также Вы узнаете от Федора Владимировича.



ИРКУТСК

Акварель А. Е. Мартынова из альбома художника: «Живописное путешествие при Российском посольстве в Китай», 1805 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

Конечно, по моему мнению, алгебра будет основанием. В языке французском выговор, глаголы, перевод и ученье на память стихов. Но главное — последовательность и чтобы сын мой не терял времени.

В надежде на Ваши знания и на Ваше желание быть полезным я безусловно веряю Вам сына моего. Ученье есть будущность его. Он имеет память и способность, но дурное направление. Ученье в гимназии притупило или сбило врожденное, а исправить или поправить еще время не ушло, тем более, что он понимает свою пользу и права спокойного. Вы все увидите сами.

Конечно, если б я имел возможность и более средств, я умел бы оценить Ваш труд и пользу сына. Но и теперь не отказываюсь по успехам его употребить все, что могу, чтобы выразить мою признательность.

От Федора Владимировича деньги за ученье, когда Вам угодно или нужно, прошу получать. Книги я выписал из Москвы и по получении доставлю в Читу.

Простите. Всегда уважавший и уважающий Вас искренне и желал бы прибавить вечно-признательный Вам

Владимир Раевский

12 сентября 857.

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, лл. 33—34.

¹ Письмо это не сохранилось. О М. В. Раевском см. далее, письмо № 8.

² Переезд Завалишина в Иркутск не состоялся. О тяжелых условиях его жизни в Чите в эту пору см.: Завалишин, стр. 426—428.

³ Федор Владимирович Ефимов (1823—1882)— действительный статский советник, член Совета Главного управления Восточной Сибири, муж второй дочери Раевского, Веры.

8. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

«Александровский завод.»
20 декабр^я 857 года

Вы извините меня, Дмитрий Иринархович, что я опоздал уведомлением о получении письма Вашего¹. Очень знаю и потому умею ценить то, что следовало бы уважать и признавать в Вас — не моя, но общая справедливая оценка. Вот почему за 300 верст от столицы Восточной Сибири я послал сына моего к Вам². При наших правилах и в наши лета не расточают пустых учтивостей. Я говорю так, как понимаю, а понимаю уже вследствие навыка, опыта и проч. и благодарю Вас за все, что Вы разъяснили в письме Вашем.

Теперь буду говорить откровенно о сыне моем. В нем много добрых свойств, одно из важнейших — он умеет молчать, чего в других моих детях нет.

Но, к сожалению, иркутская гимназия, как и все учебные заведения в России, в таком болезненном положении, что самый свежий, здоровый индивидуум при сообщении заражается смрадной, гнилой этой лазаретной язвой. А излечение впоследствии очень трудно. Я это понимаю.

Мой сын ленив, беспечен, груб, вследствие этой заразы; он еще молод умом, и это — к счастью... потому что другие опаснейшие припадки не успели поразить его... Я взял его из 6-го класса; из познаний его вы видите, каков должен быть экзамен из класса в класс? Конечно, Вам предстоит радикальное врачевание, но потому-то я и решился верить Вам, не находя и не видя нигде благонадежнее. Я буду уметь быть Вам признательным тем более, что Миша был моим любимым сыном в детстве.

Весною, т. е. в мае месяце, я собираюсь ехать, т. е. съездить, в Россию. Посмотреть людей и себя показать. Но что я ни слышу, ни читаю, ни вижу из писем от родных и знакомых, меня не утешает³. Журналистика кричит или хрюкает о каком-то прогрессе, цивилизации, о новой эре — и ни с места! Русские переняли все пороки от иностранцев и ни одной добродетели, сказал кто-то, а Монтескье сказал, я помню, что русское дворянство прежде развратилось, нежели просветилось... Следственно, гниение началось прежде развития⁴... Чего же ожидать и что я увижу? Меня мысль эта ставит в затруднительное положение. Но все-таки я рассчитываю, что поездка по России несколько освежит меня после 30-летней трудовой жизни⁵.

Отчего бы Вам не проехаться в Иркутск, зимою это не трудно... Генерал хотел быть в январе⁶, Корсаков в феврале⁷, но новых и положительных известий от генерала и об генерале никаких еще нет и потому я ничего не пишу к Вам. Мне кажется, после Севастопольского штурма Россия впала в какое-то апатическое положение, а журналистика в горячечном бреду.

Прощайте. Всегда и искренно и душевно уважающий Вас

В. Раевский

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, лл. 35—36.

¹ Письмо это не сохранилось.

² Михаил Владимирович Раевский (1844—1882) — второй сын Раевского, в эту пору юнкер артиллерийской бригады, стоявшей в Чите, впоследствии войсковой старшина. О нем см. выше, письмо № 7.

³ Раевский никогда не разделял либеральных иллюзий, характерных для огромного большинства амнистированных декабристов в период «реформ» шестидесятых годов. В этом отношении очень показательны его письма к Г. С. Батенькову 1860—1861 гг. См. о них выше, стр. 136—137.

⁴ О скептическом отношении Раевского к дворянско-либеральной общественности см. вступительную статью, стр. 138.

Раевский имеет в виду высказывания Монтескье о «русском дворянстве» в «Духе законов» и в «Персидских письмах». Он хорошо помнил и «Вечер у Кантемира» Батюшкова (1816). В уста Монтескье здесь вложены сентенции о нецелесообразности сатиры «на нравы, которые еще не установились»: «Гораций и Ювенал осмеивали пороки народа развратного, но достигшего высокой степени просвещения», русское же дворянство еще не вышло из состояния «хаоса», демонстрируя сатирику лишь «грубое слияние всего порочного, смешение закоренелых предрассудков, невежества, древнего варварства, татарских обычаев с некоторым блеском роскоши азиатской, с некоторыми искрами просвещения европейского! Какая тут пища для поэта сатирического? Могут ли проникнуть тонкие стрелы эпитагмы сквозь тройную броню невежества и уязвить сердце, окаменелое в пороках, закаленное в невежестве?» (К. Н. Б а т ю ш к о в. Соч., т. II. СПб., 1885, стр. 233—234. Ср. М. П. А л е к с е е в. Монтескье и Кантемир.—«Вестник Ленинградского университета», 1955, № 6, стр. 55—78).

⁵ О впечатлениях Раевского от поездки в Россию в 1858 г. см. его записки (Щеголев. Декабристы, стр. 79—83) и письмо к Батенькову от 29 сентября 1860 г. («Ульяновский сборник», стр. 303—307).

⁶ «Генерал» — генерал-лейтенант Н. Н. Муравьев (см. о нем письмо № 3, прим. 20 и письмо № 11); об отношениях Муравьева с Раевским см. отмеченное выше письмо последнего к Батенькову от 29 сентября 1860 г.

⁷ Михаил Семенович Корсаков (1826—1871) — генерал-майор, забайкальский военный губернатор, ближайший сотрудник и преемник Н. Н. Муравьева.

9. Д. И. ЗАВАЛИШИНУ

〈с. Олонки. Начало января 1861 г.〉

Если правда, что Вы уезжаете из нашей в настоящее время наркотической Сибири¹, обязали бы много, если б повидались со мною или проездом чрез Олонки или уведомили меня и я приехал 〈бы〉 в Иркутск. Сын мой Юлий из Варшавы приехал повидаться со мною и в исходе генваря едет обратно. Наши новости, я думаю, для вас не тайна².

Всегда и искренно уважающий

Влад. Раевский

Автограф. ГИМ, ф. № 250 (Д. И. Завалишина), ед. хр. 3, л. 37.

Дата записки определяется ее содержанием: Ю. В. Раевский приезжал к отцу из Варшавы в январе 1861 г. («Ульяновский сборник», стр. 309).

¹ Резко отрицательная характеристика общественно-политической жизни Сибири в 1858—1861 гг. дана в письмах Раевского к Батенькову от 29 сентября 1860 г., 10 февраля и 25 июля 1861 г. («Ульяновский сборник», стр. 306—310).

² Раевский имеет, вероятно, в виду предстоящие перемены в аппарате управления Восточной Сибири в связи с освобождением Н. Н. Муравьева от должности генерал-губернатора.

10. В. Г. РАЕВСКОМУ

〈Олонки.〉 27 декабря 1865 г.

Почтенный, любезный и благородный друг и брат мой Владимир Гаврилович.

У меня недостает слов как благодарить вас за ваше участие в моей судьбе, за любовь к моим детям и искренний радушный прием их. Миша мой возвратился, и я как будто ожил¹. Он сказал мне более, нежели письмом ваше. Он повторил мне то, что говорило мне всегда сердце мое: т. е. что Наталия Гавриловна и вы для него ближе всех других родных². С самых

молодых лет после отца моего я любил Гаврилу Михайловича более всех моих родных³, а сестер ваших более, нежели моих родных сестер. Вас я оставил младенцем, когда я уехал в Бессарабию, откуда уже не возвратился на родину, и после шестилетнего заключения <с> 1827 году уже был в Сибири, которая сделалась моей новой родиной. Долго описывать вам мою жизнь и трудности, с которыми я должен был бороться, чтобы дать детям моим то значение, которое принадлежало им по происхождению.

Вы видели Вадима, Юлия, Мишу, и не знаю, видели ли, но, кажется, и Сашу вы знали; вторая дочь моя замужем за Ефимовым, который, не имея еще 40 лет, председателем губернского суда, имеет и Анны и Станислава с короною на шее и 10 лет был прокурором. У них уже 4 сына. Последняя дочь моя, София, в Иркутском институте, через год должна выдти⁴. Вам известно, что во все время моей ссылки сестры не прислали мне ни одной копейки. У меня были силы, но усиленный труд и заботы утомили меня, и мне слишком 70 лет. Я не могу сказать, чтобы я устарел, ослаб, но мне не достает уже той деятельности и тех сил, которые так долго заставляли меня искать труда, работы или, лучше сказать, средств к жизни, к содержанию семейства и воспитанию детей. Мне нужен отдых. Честным трудом я не мог обеспечить себя и устроить будущность детей моих. Хотя занимался я такими делами, где, при малейшем нарушении моих убеждений и правил, я мог приобрести значительные деньги, но быть в разладе с моей совестью значило бы унижить себя в собственных глазах. Я смело иду к концу моей жизни.

Я не просил сестер моих о помощи, хотя по смерти отца и братьев я остался единственным наследником всего имения, которое разделили сестры мой вследствие несчастия моего, моей ссылки. Я жил безбедно в Сибири, но если бы не милостивый бог, я бы в этой ссылке, без помощи родных или брошенный ими, мог бы попасть в нищету, совершенно в безвыходное положение и умереть где-нибудь на соломе, в избе, пропитываясь подаянием, или, что всего вернее, прекратить жизнь мою самоубийством, проклиная безжалостных и бесчувственных сестер. Эти проклятия, конечно, дошли бы к богу! Но всемогущий бог дал мне силы. Мне было утешительно, весело трудиться для жены и детей моих, я не проклинал сестер моих, но я жалел их, старался в душе моей оправдывать их... но вышло не так. Александра Федосе<вна> написала мне духовную, но не форменную, и Веригина насмеялась над этой духовной. В Петербурге я бы мог просить прямо государя императора. Так мне советовали мои близкие знакомые, я оставил дело до личного свидания. В Хворостянке она написала мне от себя духовную, которую не приняли за неформенностью в Опекунском совете. Впоследствии они уничтожили и это духовное завещание вследствие того, что в запрещенных заграничных газетах «Будущности» и «Колоколе» было напечатано, что Веригина и Бердяева, сестры политического ссыльного Раевского, ограбили его⁵. Во-первых, я не посылал в эти газеты этой публикации, во-вторых, я слышал, что там напечатан был список *всех* гнусных родственников, которые, пользуясь несчастием своих родных, присвоили себе наследство и бросили на голодную смерть в Сибири тех людей, которые были виновны пред государем и законами, но не пред человечеством и тем более родственниками. Правительство не воспрещало помогать или посылать деньги осужденным. Благородных примеров было много. Сюда в Сибирь приезжали даже невесты из России и выходили здесь уже за осужденных замуж. А жены почти все уехали за мужьями, посланными в работу. Кня<гиня> Волконская (урожденная Раевская), генеральша фон-Визин, две Муравьевых и некоторые еще пережили несчастье свое и возвратились с мужьями на родину. Некоторые, как Муравьева (урожденная графиня Чернышева), княгиня Трубецкая (урожд. де-Лаваль) не дожили до этого счастливого решения и погребены здесь в Сибири.

Конечно, мне очень грустно, даже обидно, что сестры мои попали в список бесчестных, подлых родственников, но, к счастью, они не носят фамилии нашей, фамилии Раевских, и обесславлено имя мужей их. Так как Веригины, уничтоживши духовную, продали имение Иас<афу> Алек<сандровичу> Попову⁶, то об этом наследстве и говорить нечего, но я вам прилагаю копию с подлинного письма* Н. Ф. Бердяевой, в котором она говорит, что Алек<сандра> Федосе<евна> перед смертью поручила выдать мне 3000 рублей, от которых она отпереться не может. Копию с этого письма я послал к Иас. Алек. Попову. Пусть Веригина отдаст мне эти 3000 рублей, и я прошу ей поступок со мною насчет Александры. Эти три тысячи совершенно поправили бы дела мои. Прилагаю также некоторые письма, которые могут служить пояснением в этом темном деле. Тысячу раз благодарю вас за соучастие. Относительно завещания доброй сестры моей Веры Федосеевны сыну моему Вадиму своего имения — других актов, полагаю, не нужно, потому что высочайшее разрешение напечатано почти во всех газетах⁷, да и кто наследники? Дети мои теперь имеют право на наследство, в наследстве отказано нам для того, чтобы мы, возвратясь, не подымали с родными процессов за наше бывшее наследство, до детей наших это вовсе не касается, они уже наследники, получивши и права и потомственное дворянство. Относительно грамоты на дворянство и родословной — у меня есть из Герольдии, полученные отцом моим, и которые я вытребовал, когда мне возвратили дворянство⁸. Эти документы были в Хворостянке. В этой родословной внесено мое имя и двух старших и двух младших моих братьев.

Любезный, и добрый, и неоцененный мой друг и брат, все ваши заботы обо мне и любовь и дружбу видит бог и «его же мерою мерите, возмерится и вам». У него в руках награда вам, а я с самой чистой душевной любовью обнимаю вас и, как отец, благословляю. Пишите ко мне чаще. Детей ваших целую.

Владимир Раевский

С праздником вас поздравляю.

Автограф. ЦГИА, ф. № 279 (Якушкиных), ед. хр. 330.

Владимир Гаврилович Раевский — двоюродный брат декабриста, майор, служивший в Комиссии гвардейского ремонта.

¹ Миша — третий сын Раевского, казачий офицер. См. о нем выше, письмо № 8, прим. 2.

² Наталья Гавриловна Раевская — двоюродная сестра декабриста. Ее письма сохранились в архиве III Отделения в числе бумаг, отобранных у Раевского в Оловках в 1831 г. в связи с ложным доносом, сделанным В. Г. Раевским (братом Наталии и Владимира), о существовании в Курске тайного общества, разделяющего идеи декабристов (см. выше, стр. 133).

³ Гавриил Михайлович Раевский — отец адресата письма, помещик Курской губернии (умер 6 января 1831 г.).

⁴ О сыновьях и дочерях Раевского см. выше, письмо № 3, прим. 2. Старшая дочь декабриста, Александра Владимировна («Саша»), после смерти своего первого мужа К. О. Бернатовича, смотрителя Александровского винного завода, вышла замуж в 1865 г. за красноярского окружного врача Г. А. Богоявленского. В бумагах последнего в 1900 г. в г. Владимире-Волыньске обнаружена была рукопись записок В. Ф. Раевского о поездке его в Москву и Петербург в 1858 г.

⁵ В «Колоколе» никаких данных о неблагоприятных поступках сестер Раевского не появлялось, но в газете «Будущность», издававшейся эмигрантом П. В. Долгоруким в Лейпциге, в статье «Поступок господ Поджио», отмечалось, что «общественное мнение» заклеит родственников Поджио, захвативших имение осужденных декабристов, как оно уже заклеило «имена госпожи Бердяевой и госпожи Веригиной, которые, соединясь обе вместе, обокрали родного брата своего Владимира Федосеевича Раевского» («Будущность», 1861, № 15, от 4 августа, стр. 119). В одном из следующих номеров

* Подлинную я перешлю к вам. Это письмо отправляю к вам страховым, оно не может затеряться. — Прим. В. Ф. Раевского.

указывалось, что, несмотря на поступившие в редакцию формальные возражения Веригина, газета выражает надежду на то, что «А. М. Веригин и супруга его не оставят деятельным участием и достаточною, постоянною помощью В. Ф. Раевского, который пострадал за свободу России и потому участь его близка сердцу всех друзей свободы» («Будущность», 1861, № 124, от 21 октября, стр. 168). Глухой отклик Раевского на эту публикацию см. в его письме к В. Ф. Поповой от 23 декабря 1861 г. («Русская старина», 1903, № 4, стр. 185). См. также письмо № 6, прим. 3.

⁶ Иосаф Александрович Попов (1818—1875) — муж В. Ф. Раевской, новооскольский предводитель дворянства. Об отношениях Раевского с семьей Поповых см. в письме его к В. Ф. Раевской («Русская старина», 1902, № 3, стр. 599—606).

⁷ 30 сентября 1865 г. опубликован был указ Сенату о признании имения жены поручика В. Ф. Поповой, по смерти ее, собственностью племянника ее, дворянина Вадима Раевского. Имение это, с Морквино Курской губернии, занимало площадь в 1014 десятин. В. Ф. Попова пережила, однако, своего племянника.

⁸ О документах этих см. выше, стр. 135.

11. С. И. ЧЕРЕПАНОВУ

6 декабря 866. Иркутск

Милостивый государь Семен Иванович,

На два обязательных письма Ваши считаю обязанностью отвечать удовлетворительно. Издатель «Рус<ского> архива» г. Бартенев давно писал ко мне и просил сведений о Пушкине, зная о дружеских отношениях моих с ним¹. Я не отвечал потому, что нужно было употреблять часто личное местоимение. Липранди в статье своей сказал довольно, но оп многого не знал или забыл, и я могу сделать замечания или пояснения, если усвоенная лень не одолеет. 8, 9 и 10-й № «Рус<ского> архива» у меня на столе². Благодарю Вас, очень благодарю за труд Ваш переписывать так много, тем более, что это ясно говорит мне о Вашем внимании и расположении ко мне.

Я Пушкина знал как молодого человека со способностями, с благородными наклонностями, живого, даже ветреного, но не так, как великого поэта, каким его признали на святой Руси за неимением ни Данта, ни Шекспира, ни Шиллера и проч. знаменитостей. Пушкина я любил по симпатии и его любви ко мне самой искренней. В нем было много доброго и хорошего и очень мало дурного. Он был моложе меня 5-ю или 6-ю годами. Различие лет ничего не со<с>ставляло. О смерти его я очень, очень сожалел и, конечно, столько же, если не более, сколько он о моем заточении и ссылке³.

Относительно Вашей или, вернее, нашей родины, к сожалению, ничего утешительного сказать не могу. Забайкальский край сильно разорен — Амур поглотил материальные его силы... Амур, о котором мы с Вами некогда мечтали, в настоящее время — бездонная яма, в которую всыпали уже более 30 миллионов невозвратного капитала, а будет ли толк — темно. С самого начала дело испорчено. Мы хлопотали о блеске, о славе, о наградах, а о пользе и будущности и не думали. Для устройства края посылали сверчков молодого поколения. Тяжелую руку наложил Муравьев на Восточную Сибирь и передал ее в наследственное управление своему воспитаннику⁴. И прежние мирные, светлые дни прошли безвозвратно. Уж, конечно, я оставляю мою родину в том же тумане под теми же черными тучами. Мне 72 года.

Вы бы не узнали Иркутска. Вместо трех отделений Главного управления Восточной Сибири — в настоящее время 6. Было 7. На каждом шагу Вы встретите офицера, казака, солдата. Генералов военных 6, гражданских — действительных ст<атских> советников до 10, губернаторов на Амуре 2, в Забайкальской и Якутской областях 2, в Иркутске и Красноярске 2; итого — 6, кроме генерал-губернатора.

В Иркутске в откупное время было 16 кабаков, теперь 400! Завод винокуренный на всю Восточную Сибирь был один — теперь 18 частных вин<ных> заводов. Видите ли, какой прогресс! А между тем на всю Вос-

точную Сибирь — на 6 губерний, на 2 миллиона жителей — одна и единственная гимназия со 120-тью воспитанниками. Муравьев на предложение министра просвещения Норова устроить университет в Вост<очной> Сибири отстоял безграмотность в Сибири и отверг предложение как ненужное и не только бесполезное, но вредное. Уездные и приходские училища только по отчетам значатся, ни порядочных учителей, ни воспитанников почти нет. Сибирские чиновники составляют класс чернорабочих в администрации. Вся сила, власть, награды, право взяток в руках выписных из России чиновников⁵. При Муравьеве началась эмиграция купцов и даже чиновников из Вост<очной> Сибири. В настоящее время 14 купеческих домов обанкротились. Три года уже как ржаного хлеба пуд стоит выше рубля. Одним словом, из 19-го столетия мы перешли в первую половину 18, и если будет так, то подвинемся в 17-й. Вот Вам краткий поверхностный отчет о нашей родине.

В 1858 году я ездил в Россию; был в Москве, Петербурге, на моей родине — Курской губернии. Но и в России не лучше Сибири. Наши «меньшие братья» спились с кругу, измелъчали, оподлились до омерзения... да и крепостные ничем не проявляли стремления, жажды свободы. Им как будто навязали ее, они не знают, как справиться с нею. Чтобы исправить, спасти народ, необходима повсеместная *обязательная* грамотность, а не миллион — если не более — кабаков, откуда выносятся все преступления, болезни, растление, истощение и неестественная смертность.

Мы в Олонках не один раз вспоминали Вас, Ваш приезд к нам, мои поездки на Тункинские минеральные воды, рябчиков, которых Вы нам привозили. Но все это давно прошедшее как-то обаятельно еще на меня действует! Иногда я бываю еще молод.

У Вас в Казани прокурором Ф. Ф. Ольдекоп — честный, благородный, самостоятельный человек⁶, он был здесь советником, имел неприятности, но, уважаемый всеми, оставил по себе самую для него лестную память. Я советую Вам познакомиться с ним. Посылаю через Вас ему мое прежнее душевное уважение и желание всевозможного лучшего. Письмо мое Вы можете показать ему. Вероятно, и в Казани он пользуется всеобщим вниманием, расположением и уважением.

Я думаю, в газетах Вы читали о бунте поляков на кругоморской дороге⁷. В 3 дня дело было кончено, но описано как Бородинская и Лейпцигская битвы! Четырех расстреляли. Я собираюсь писать записки за 40 лет о Вост<очной> Сибири, т. е. со дня моего приезда в ссылку.

Еще раз душевно благодарю Вас за Ваши письма и память обо мне и очень буду рад, если получу ответ на след<ующие> вопросы: где Вы странствовали все это время? Что у Вас там делается? Какие у Вас специальные занятия в Татарской Руси? Также обяжете, если пришлете творение Завалишина⁸. Прощайте, желаю Вам всевозможных благ и остаюсь всегда и искренне уважающий

Влад. Раевский

Автограф. ЦГИА, ф. № 1463, оп. 2, ед. хр. 611. — Помета С. И. Черепанова: «Получено 30<-го>. Казань».

Семен Иванович Черепанов (1810—1884) — литератор, автор «Воспоминаний сибирского казака». В 30—40-х годах служил в Иркутске, Чите и Вятке, впоследствии жил в Казани, деятельно участвуя в московских газетах и журналах. О впечатлениях Черепанова от его первых встреч с Раевским в Иркутске см. выше, письмо № 2, прим. 6. В воспоминаниях Черепанова сохранилось свидетельство о том, что им послана была в «Русскую старину» специальная заметка о Раевском, оставшаяся непечатанной («Древняя и новая Россия», 1876, № 8, стр. 382).

Эта заметка, обнаруженная недавно в архиве «Русской старины», позволяет установить, что С. И. Черепанов, познакомившийся с Раевским еще в 1833 г., особенно часто встречался с ним в период с 1840 по 1843 г. как в Иркутске, так и на Тункинских минеральных водах («Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 548—551). Следует отметить существенную ошибку в воспоминаниях

Черепанова, привнявшего рассказ декабриста Ю. К. Люблинского о М. Н. Волконской («молодой Раевской», то есть Раевской по отцу) за сведения о жене В. Ф. Раевского.

¹ П. И. Бартевев обращался к Раевскому, видимо, в процессе подготовки к печати или доработки своего исследования «Пушкин в Южной России» («Русская речь и Московский вестник», 1861, №№ 85—104). Характерно, однако, что в публикации Бартевева имя Раевского не упоминается ни разу.

² Раевский имеет в виду публикацию «Из дневника и воспоминаний И. П. Липранди» («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1213—1284; № 10, стб. 1393—1491). Воспоминания И. П. Липранди, внося существеннейшие дополнения и поправки в работу П. И. Бартевева «Пушкин в Южной России», впервые ввели в широкий научный оборот и данные о близких литературно-политических взаимоотношениях Пушкина и Раевского в Кишиневе в 1821—1822 гг. Об истории публикации воспоминаний Липранди в «Русском архиве» — см. «Пушкин». Ред. М. А. Цявловского («Летописи Государственного Литературного музея», кн. 1). М., 1936, стр. 548—558.

³ И. П. Липранди, характеризуя в своих записках литературно-исторические дискуссии Пушкина и Раевского в 1821—1822 гг., отмечал, что «Пушкин, как вспылчив ни был, но часто выслушивал от Раевского, под веселую руку обоих, довольно резкие выражения и далеко не обижался, а, напротив, казалось, искал выслушивать бойкую речь Раевского. В одном, сколько я помню, Пушкин не соглашался с Раевским, — когда тот утверждал, что в русской поэзии не должно приводить имена ни из мифологии, ни исторических лиц древней Греции и Рима, что у нас и то и другое есть свое и т. п.» («Русский архив», 1866, № 9, стб. 1256). Литературно-теоретическая платформа Раевского этой поры была необычайно близка взглядам той группы писателей революционного лагеря, которая возглавлялась Катениным и Грибоедовым и к которой в той или иной мере примыкали Кюхельбекер, Рылеев, А. Одоевский, драматург А. А. Жандр, критики Н. И. Бахтин, Д. П. Зыков, Д. Н. Барков, молодые поэты В. В. Григорьев и Н. М. Языков. Именно этот круг имел в виду К. А. Полевой, говоря о литераторах начала двадцатых годов, «убежденных, что прежде всего надобно быть чистым сыном своего отечества, заимствовать силу и краски у своего народа и воскрешать старинный, а, если можно, то и древний быт, древний язык, древние понятия, потому что все это в нынешнем русском мире образовано слишком уж по-иностранному» («Московский телеграф», 1833, № 8, стр. 566). С этих позиций критиковал Пушкина и Раевский в своем послании «К друзьям в Кишинев», требуя от автора «Кавказского пленника» создания национально-исторической эпопеи с обнаженной революционной тематикой.

Эти давние литературно-политические споры (см. о них «Лит. наследство», т. 16-18, 1934, стр. 657—666) и вспомнились Раевскому в 1866 г. при чтении им новых публикаций о Пушкине — записок И. П. Липранди, во-первых, и статей Писарева в «Русском слове» — во-вторых. Под непосредственным воздействием памфлетов Писарева в некоторых высказываниях Раевского о Пушкине определялась и та претенциозно-снохобительная интонация, наивность и бестактность которой не выдерживают никакой критики.

⁴ «Воспитанником» Муравьева Раевский называет М. С. Корсакова, генерал-губернатора Восточной Сибири с 1861 г. Об этих администраторах см. письма №№ 3 и 10.

⁵ Характеристика Восточной Сибири, даваемая здесь Раевским, очень близка к его высказываниям на эту же тему в письме к Батенькову от 10 февраля 1861 г. («Ульяновский сборник», стр. 309—310).

⁶ Карл Карлович (он же Федор Федорович) О л ь д е к о п (род. в 1810 г.) — отставной поручик, затем чиновник Государственного заемного банка, привлекавшийся к секретному дознанию по делу Петрашевского в 1849 г. С 1860 г. — советник губернского суда в Иркутске, один из разоблачителей беззаконий восточно-сибирской администрации, переведенный в 1861 г. в Казань, где впоследствии (до 1867 г.) был губернским прокурором. В «Адрес-календаре на 1868 г.» имя его уже не значится. Сведения о его «особом мнении» по делу о дуэли Беклемпшева и Неклюдова см. в статье Герцена «Граф Муравьев-Амурский и его поклонники» («Колокол», 1861, л. 109; Герцен, т. XI, стр. 251).

⁷ Раевский имеет, вероятно, в виду специальные корреспонденции из Иркутска, печатавшиеся в газете «Голос», 1866, №№ 332—336. Опровержение «частных корреспонденций о возмущении ссыльных поляков в Сибири» опубликовано было в официальной «Северной почте» от 17 августа 1866, № 177; ср. Н. Б е р г. Восстание поляков на Кругобайкальской дороге. — «Исторический вестник», 1883, № 3, стр. 558—574.

⁸ Раевский имеет в виду одну из статей Завалишина на сибирские темы, печатавшихся в «Современной летописи» 1866 г. В этом же году Завалишин опубликовал «Дело о колонии „Росс“» («Русский вестник», 1866, № 3, стр. 36—65).